



HAL
open science

Парадокс русского характера

Pavel D Simashenkov

► **To cite this version:**

Pavel D Simashenkov. Парадокс русского характера. 2023, 978-5-6049809-4-1.
<10.6084/m9.figshare.24495136>. <halshs-04269524>

HAL Id: halshs-04269524

<https://shs.hal.science/halshs-04269524>

Submitted on 3 Nov 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Copyright



П.Д. СИМАСHENКОВ

ПАРАДОКС

РУССКОГО ХАРАКТЕРА

П. Д. Симашенков

ПАРАДОКС РУССКОГО ХАРАКТЕРА

Монография

Электронное издание

Самара

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ
ИМАЛЯНОВ
ПРЕДПРИЯТИЕ

2023

УДК 930.85
ББК 71.05
С37

Симашенков, П. Д.

С37 Парадокс русского характера : монография / П. Д. Симашенков. – Самара : ИП Малянов Семен Константинович, 2023. – 1 CD-ROM. – Систем. требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более ; 256 Mb (RAM) ; Microsoft Windows XP и выше ; Firefox (3.0 и выше) или IE (7 и выше) или Opera (10.00 и выше), Flash Player, Adobe Reader. – Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный.

ISBN 978-5-6049809-4-1

В последнее время актуализируется проблема национальной идентичности, но вот вопрос: идентичности чему? Традициям, религии, менталитету? Идеалам, может быть? Воодушевленный лучшими образцами отечественной исторической мысли, автор предлагает оригинальный подход к расшифровке русского «культурного кода».

На обложке — картина В. Е. Попкова «Тишина» (1972 г.)

УДК 930.85
ББК 71.05

Светлой памяти деда и бабушки,
Михаила Гавриловича и Марии Никитичны Гришиных,
в год их юбилея

ЧАСТЬ I

МЕЖДУ ЭОНОМ И ХРОНОСОМ
(ОЧЕРКИ ЭСТЕТИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ)

ПРОЛОГ

Кого любишь, не исследуешь,
а кого не любишь — исследовать бессмысленно.

В. Библихин

Вот и я всё время в этом квадратном положении.
Для меня это равенство четырех углов,
но для вас — может быть, почище, чем бином Ньютона.

Е. Замятин

Русским ныне быть не модно. Евреем, мордвином, цыганом, татаринном, даже ассирийцем или курдом-езидом — кому насколько достанет апломба, эрудиции и фантазии. Кем угодно, лишь бы не русским.

Я написал эту книгу, чтобы соотечественники задумались, почему они до сих пор русские или же зачем они всё еще русские. А не почувствовавшие нюансов смысла в данном вопросе — с облегчением констатировали бы, что русский дух покинул их, взыскав более подходящего воплощения.

По ходу изложения слова классиков и корифеев намеренно подкрепляются цитатами из советских фильмов и песен: именно они, знакомые многим с детства, призваны резонировать с самыми укромными уголками национального самосознания, заповедниками русскости в каждой душе.

Как и в предыдущей работе, здесь принципиально не будет академических сносок на цитируемые труды — из уважения к их авторам. Верность цитирования легко проверяется контекстным интернет-поиском, а сноска на конкретное произведение ограничила бы возможность изучить всё творчество цитируемых мыслителей; подобное сужение кругозора читателей считаю неприемлемым.

Название книги в равной степени относится и к характерности парадокса для русского мировосприятия, и к этнопсихологической характерности русских — уважаемый читатель, как и прежде, может постичь сие сообразно своему разумению. Я же попытался выразить сущность идеи, определяющей вектор отечественной истории и культуры.

Не стану заострять вопрос критики Запада — хотя бы потому, что в сегодняшней России это дело слишком обыденное, политическое и оттого до тошноты «хлебное». Вместе с тем, некоторые моменты «их нравов» придется и проанализировать, и оценить — главным образом, для сравнения с нравами местными, также отнюдь не ангельскими.

Сейчас в Отечестве нашем разве что немой не разглагольствует о национальной идентичности, причем чаще всего жгут неправильным глаголом глухие (к гласу народа) и особливо — слепые квази-(или квасо-)патриоты. Но вот вопрос: идентичности чему? Традициям, культурному коду, религии, образу мыслей? Идеалам, может быть? Предлагаю разобраться вместе, соборно. И надеюсь, мой труд не оставит читателя равнодушным, ведь равнодушие — это так не по-русски!

Ни в коей мере не претендую на лавры и тернии совести нации и рупора эпохи, пророка, глашатая и буревестника. Эта книга — признание в любви моей земле и моему народу.

ВМЕСТО МАНИФЕСТА

Мы ценим правила, а любим исключения.

Л. Зорин

На образ зрети душевными очима,
возвышающе на первообразное.

Царь Иоанн IV Грозный

След в истории... Эти слова давно уже стали общеупотребимыми и утратили первоначальный смысл. И всё же: кто, как, зачем и на чем оставляет следы? Попробуем увидеть проблему глазами философа, историка, криминалиста и судебного медика. Решимся трактовать вопрос буквально, а потому равно и юридически-конкретно, и эстетически, образно — намереваясь уяснить, кто (История или Криминалистика) играет на чужом поле. Постараемся пойти дальше сравнения историка с констеблем, сделанного Р. Коллингвудом, сопоставляя разные версии и получая тем самым новый опыт, обогащенный нетривиальными ассоциациями и переосмыслением вопросов концептуальных и даже идеологических.

Историческая дистанция не просто неизбежна, она необходима и в чем-то полезна для осознания и оценки прошлого. Наоборот, в детективной практике остывание «горячего следа» осложняет расследование. Продолжая аналогии, нелишне упомянуть о разнице между детективом и полицейским боевиком: в последнем преступник уже известен, и вся прелесть не в умствованиях, а в погоне, в экшене. С историей еще «проще»: там, как правило, не только установлены личности ключевых фигурантов, но известен собственно финал сюжета. Сколь велик соблазн подтасовать следы, погнавшись за сенсацией и подогнав задачку под заранее известный ответ! Уподобление исторических исследований историям детективным, при некотором сходстве в деталях (впрочем, чисто внешнем), в целом выглядит довольно-таки аляповато, а посему предпочтем холмсовой дедукции — индуктивный метод, позволяющий синтезировать, на наш взгляд, более емкие обобщения.

В освещении историософских проблем зарубежных исследователей занимают преимущественно вопросы околпсихологические. Й. Рюзен выделял исто-

рическую саморефлексию и интеркультурную историографию, О. Эксле называл историю научно обоснованной памятью современности, В. Вжосек говорил, что отношение современной исторической науки к прошлому (особенно отдаленному) является ничем иным, как отношением культуры к другой культуре. Не менее занятен поиск системы координат, очерчивающей режим историзма. Так, Р. Козеллек считает, что исторические интерпретации обусловлены познавательной ситуацией, в которой находится ученый; Ф. Артог развивает тему преобразования памяти в историю; В. Беньямин пишет о зыбком настоящем и постоянстве т. н. Ангела истории. Отметим: западные мыслители пытаются упорядочить прошлое схоластически, административно, сверху — будто изобрели и запатентовали абсолютную истину. Результат — мудреные и опрятные ментальные конструкции, а в сущности — своего рода гольдберг-вариации по мотивам спора тысячелетней давности (между реалистами и номиналистами). Дело в том, что любой парадигмальный орднунг воленс-ноленс фабрикует универсальную «технология просветления», а неминуемое разочарование в оной породит очередной приступ негативной диалектики. Возможно, по этой причине буржуазная философия пропитана ностальгирующим пессимизмом, эдакой анемией веры и в познавательные возможности человека, и в высший смысл всего происходящего. Тогда как, по мнению Г. Чулкова, «история требует от человека мужества, но нельзя быть мужественным, если твое нравственное сознание непрестанно твердит тебе о греховности всего исторического процесса». Современные европейские авторы весьма деликатно и осторожно вписывают мировоззренческий компонент в систему исторического познания. Пожалуй, наиболее «радикальным» в данном плане можно признать красивый афоризм А. Буллера «история — это реализованная во времени мораль».

Множество концептуальных поворотов (когнитивный, антропологический, психологический, мемориальный и мн. др.) развернуло, в конечном счете, западный историософский вектор на 360 градусов, мотивируя ученых блуждать в трех соснах прошлого, будущего и настоящего (пассеизм, футуризм, презентизм). Как следствие — ожидаемые реминисценции: А. Буллер призывает вооружиться скептицизмом Дройзена и Коллингвуда, а Вжосек восхищен критическим потенциалом теорий Хладениуса и Вико. Впору вспомнить Салтыкова-Щедрина: «представленная исключительно самой себе и обращаясь в среде слишком однородной, мысль может достигнуть результатов болезненных, почти чудовищных».

Отечественная философия органичнее (и отнюдь не в вульгарном, социал-эволюционистском изводе дарвинизма) осмысливала идею развития, где явления группируются согласно наблюдениям, установленным закономерностям и выявленным направлениям. Отсюда естественная упорядоченность, бóльшая

целостность, «художественность» и меньшее количество -измов в попытках объять необъятное (достаточно сопоставить культурно-исторические типы Н. Данилевского и культурные ряды Г. Рюккерта). Н. Надеждин определял историю как «полное, светлое, живое самосознание каждого народа». В России историософские моменты интерпретировались преимущественно в ракурсе идеологическом. М. Погодин отстаивал теорию официальной народности, Н. Страхов разделял идеи почвенничества; П. Лавров связывал историческое развитие с деятельностью критически мыслящих личностей. И позже обозначенное нравственно-эстетическое направление в целом сохранилось. К примеру, Л. Гумилев разработал учение о пассионариях, а Б. Могильницкий писал о специфичности исторических законов и альтернативности познания.

Этический лейтмотив прослеживается и в отечественной педагогической литературе. Уже в первом российском учебнике по методике преподавания истории (1877 г.) автор его, Я. Гуревич, убеждал «посредством сообщения материала и способа передачи его влиять на нравственное и умственное развитие учащихся. Для этого нет надобности скрывать и мрачные явления в истории народа и выдвигать одни лишь светлые явления в жизни его. Для этого незачем идеализировать прошлое своего народа и унижать значение других народов: такой слепой патриотизм совершенно противен чувству правды и гуманности, развитие которых школа должна иметь в виду».

Таким образом, отечественная и зарубежная историософские школы, выражаясь юридически, являют собой образцы прецедентного и нормативистского подходов к оценке доказательств. Первый идет от традиций и аналогий, второй — от формально установленных предписаний; один ориентирован на систему и принципы, другой — на структуру и догмы. Словом, западная философия сильна правилами, а русская жива исключениями.

Изысканная по фразеологии, зарубежная «историка» (как там принято именовать философию дисциплины) придавлена «культурным слоем» терминов (учредительный миф, культурный код, аксиологическая нейтральность, социокультурный фактор и т. п.), коих объяснение достойно выделения в самостоятельную квазинаучную дисциплину. Посему не удивляет ни обилие словопрений и зачастую надуманных поводов для дискуссий, ни появление «полицейских» формулировок, как то: исторические приписки, фальсификации, инсценировки, ложные заключения, квалификация смысла явлений — отчего историография мало-помалу мутирует в графологию (признанную, кстати, лженаукой). Создается впечатление, будто все усилия предков направлялись единственно на сокрытие следов и уход от ответственности. Но что есть историческая ответственность и (главное) — когда и перед кем отвечать? Нам данная постановка вопроса пред-

ставляется принципиальной, поскольку позволит отличить провиденциалистов от детерминистов, а искусство — от искусственности и ремеслухи. На наш взгляд, западный курс на «легитимацию» постижения прошлого — во многом ошибочен. Казуистика дистиллирует историю, и абсолютизация «объективности» — не более чем проявление гордыни (вознамерившейся приватизировать истину), т. е. самого махрового субъективизма.

В юридических координатах «объективного-субъективного» легко выявляются «родовые проклятия» историков: формализм и тенденциозность (соотносимые, вернее всего, как причина и следствие). Применительно к теме следов и расследования, формализм вообще критерий структурообразующий. Неужто миссия историка ограничится одними лишь полномочиями эксперта, собирающего и анализирующего улики? При таком раскладе функция эксперта — дать однозначный (не вероятностный) ответ на вопросы, поставленные исходя из сформированной следственной версии. А версия есть не что иное, как поляризованная (тенденциозная) картина событий, коль скоро процесс разделен на стороны обвинения и защиты. Значит, центральной становится проблема точности, конкретики выводов. Именно безоговорочность экспертного заключения ценится здесь особенно высоко, ибо право по определению есть темный лес оговорок, где каждый юрист — Сусанин, и нет ни одного Данко.

Знаменательно: юридическая риторика уже более полувека присутствует в «протокольных» оборотах научных цитат («по заявлению Леонтьева, Бердяев признаётся, Белинский позже раскаивался, Нестор прямо указывает, Герцен свидетельствует»). Исторические персонажи беззащитны перед (ис)следователями, практикующими допросы с пристрастием, манипулируя сведениями, каковые не всегда аргументы и факты. В отличие от показаний, даже мемуарные источники не интерактивны; они — своеобразные ответы без вопросов, подписанный чистый лист протокола, который может быть собственноручно дополнен нечистоплотным детективом. Получается, при неявке (ввиду смерти) самого фигуранта его собственное, запечатленное в следах, признание формально и есть *Regina probationum*. Благодаря такому «объективному вменению» и появляются незатейливые гипотезы — вроде той, будто Афанасий Никитин принял ислам (о чем якобы свидетельствуют мусульманские пассажи в его «Хожении за три моря»), или что упомянутая нами «царица доказательств» есть афоризм прокурора Вышинского.

Итак, корень формализма в не-избирательности метода, т. к. методика исследования должна быть утверждена компетентной инстанцией. В противном случае результаты экспертизы нельзя признать доказательством. Более того, судебный эксперт несет ответственность за заведомо ложное заключение, но ответственен ли за подобное ученый, и вновь — «а судьи кто?» Безусловно, от века

чаемый суд истории заслушает в том числе историка — как эксперта либо свидетеля. Последнее хуже, ибо презюмирует недоверие: на каком основании тот вознамерился оценивать события? Истину не устанавливают и не восстанавливают (кто ее ронял?), ее обретают. Здесь откровение выше формальной логики, диагностика вернее идентификации, а учение ценнее методички. Наверно, поэтому фраза «история нас рассудит» будет актуальной до самого Страшного Суда; на него-то и уповают ушедшие — как на ордалии, отличавшиеся от пыток тем, что назначались также и по воле ответчиков. В этом проявляется надежда людей на высшую юстицию, безотносительную к буквоедству и крючкотворству.

Усугубим наши рассуждения о правовой архаике еще одним тезисом: правда всегда «варварская», она не бесстрастно-благородная «истина». Историк не только следователь, но также потерпевший (как все смертные): и от истории, бывает — и за историю. Значит, потребность самому разыскать, изобличить и взыскать с виновного на глазах у общества — очень в духе приснопамятных *leges barbarorum*. Допустимо ли всерьез говорить о полной незаинтересованности историков в результатах их же изысканий? Особенно в эпоху политизации всего и вся, когда в цене разжигание нездорового интереса любыми средствами, не гнушаясь нуар-пиаром и иными непотребными связями с общественностью. По мнению Й. Хейзинги, «историческое знание представляет собой одну из форм, в которых общество дает себе самоотчет». Хочется верить, что и отчитывает не сам историк, да и подотчетные не *homo ludens* или *homo politicus*, а люди серьезные. На наш взгляд, значима моральная готовность человека стать орудием правосудия, но многие ли обладают подобной самоотверженностью? В обычном праве мерилom содеянного почитались нравственные ценности, априори превосходящие формализм. В конце концов, для чего суд: ради наказания или *ad maiorem Dei gloriam inque hominum salutem*? И сподобится истины лишь тот, кто и в «варварской правде» проникся сопричастностью общему делу, готовый постоять за справедливость и жить «за того парня». Это подразумевает более высокую инстанцию — соборную Личность. Словами М. Анчарова, «чтобы понять себя, человек должен стать сложнее себя. А что может быть выше человека? — Человечество!»

Следование в большей мере исповедание, чем следствие и расследование. Существует, однако, и упрощенно-утилитарный вариант «от лукавого» — преследование (скажем, ревизионизм как средство посчитаться с умершими и тем снискать дешевый авторитет). События и следы, всегда рельефнее в косопадающем свете: в историческом контексте нехитрый оптический прием выглядит практически апологией тенденциозности. Примечательно: до эпохи Просвещения хронисты и летописцы едва ли опасались сего греха. Вероятно, оттого, что подобно И. Ясинскому, считали тенденциозность «неискренностью и родной сестрой бездарности», ведь

они создавали свои опусы, стараясь не оскорбить Вечность пошлостью. Криминалистическая редукция истории ведет к стандартизации методик исследования, низводя их до алгоритмов. Так сподручней измышлять сенсационные разоблачения, спекулируя архивным компроматом. «Элементарно, Ватсон!» — вот откуда нынешний спрос на «исторические» детективы а-ля Дэн Браун и конспирологию.

Тенденциозная подтасовка — разновидность фальсификации, повод и средство мастерить мифы и лепить исторические стереотипы. В законотворчестве отражается девальвация ценностей — стало быть, закономерно спрогнозировать скелетирование исторической науки до тенденций, всегда схематичных, а потому карикатурных. И если оценивать ход времени в духе правового принципа неотвратимости, то историзм есть термин негативный, почти судебно-медицинский. Действительно, проще засвидетельствовать крах и распад как отсутствие признаков жизни, а присутствие ее — вопрос куда более тонкий и менее объективный (тут эксперт в лучшем случае пытается квалифицировать тяжесть повреждений, и опять — как отсутствие здоровья, целостности организма). Воистину, «весь успех естествознания в том, что центр внимания перенесен с причин на следствия».

Мы не отрицаем значимости техно-криминалистического компонента исследований в частных отраслях — археологии (где родство, пожалуй, наибольшее) или палеографии. Куда осторожнее следует «детективизировать» сферы более общие. Каждый ученый где-то самоуправствует и творит самосуд, однако сомнительно, что неминуемый суд истории станет проводиться заочно и лишь по материалам историографии. Ощущение принадлежности человечеству обязывает мыслить категориями целостными, комплексными, образными, а вовсе не отвлеченными. Сама интерсубъективность (даже интра-субъективность) характеризует историю как науку гуманитарную, а не узко-социальную (сродни правоведению или социологии, особенно в позитивистской трактовке). Не пристало истории заигрывать и с технологичностью, немислимой без проектного подхода и присущей ему ограниченности вследствие «слабоумного изумления перед своим веком».

Тенденциозность есть категория не мировоззренческая; наоборот, она обусловлена растяжимостью жизненных ориентиров (не принципов) и произрастает из прошлого стремления к самореализации. Лучшее средство от тенденциозности — принципиальность (вне идеологии способная, однако, выродиться в ригоризм). Личность должна вызывать и оправдывать доверие: в этом родственны требования и к судебному эксперту, и к ученому. Но что доверить и как доверять нравственно-аморфному субъекту? И «кто более матери-истории ценен»: самоутверждающийся политикан-критикан — или многозначительно молчаливый «след»?

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И КОНКРЕТИКА ТИПИЧНОГО

И память проступает вновь,
как кровь через бинты.
М. Матусовский

Не вместить эту череду, вереницу смертей
в одно свое, и тоже брненное, бытие.
Нет, не помнить — но чуять сердцем, душою!
Д. Балашов

Контекст исторического дискурса обыкновенно задается действительностью, когда нужно оценить прошлое, дабы осознать свое место в настоящем. Предков неприятно удивил бы интерес ученых к их окаменевшим фекалиям, ведь грядущим поколениям храмы оставляли! Раньше хроники описывали деяния королей, героев и святых, ныне же каждая социальная инфузория мнит себя тувелькой от Лабутена и сама себе блогер. Вместо истории — инста-сториз, негодные покушения на захламление вечности типовым контентом. Благодаря СМИ жизнь превращена в сплошной мутный поток неосознанного бытия. Иными словами, следов и охотников наследить – масса, но все сходны до степени смешения, практически неразличимы, ибо обезличены.

В такой «обстановке неочевидности» историку потребны не столько приемы идентификации, сколько таланты диагностики и атрибуции (которая есть поиск типичного в рыхлой совокупности типового). Это предполагает присутствие внутреннего убеждения, своеобразного «инстинкта истины» при оценке доказательств. Выходит, уже на стадии фиксации следов криминалистический детерминизм должен почтительно уступить место методам менее точным и материям более тонким. Подобно тому, как глазу художника не дано запечатлеть движущихся предметов, эстетика истории в ее статике, вечных ценностях, а все преходящее — тенденциозный декор. Издавна считалось выгодным шарлатанствовать: угождая временной конъюнктуре, эффектно приносить в жертву временные за-

кономерности, отождествляя их с совпадениями, выдавая симптомы за синдромы. Взять хотя бы нынешний ассортимент наукообразного кича: поп-истори, фолк-истори, альтернатив-истори etc. И всё же в исторической перспективе заказные покрово-облачения и покрово-срывания равно обречены на забвение. Или на проклятие, как случилось с кликушами перестроечной эпохи. А нравственная чистота будет вдохновлять и далеких потомков.

Достоинство исследователя видится нам не столько в отстраненной объективности, сколько в добродетелях совестливости и смирения: поменьше «любить себя в искусстве». Совесть выше рефлексии, это светловское «как я встану перед миром, как он взглянет на меня?» В данном плане яркий пример — летописцы. Осмелимся предположить, что история Руси написана внутренними эмигрантами — иноками, чуждыми политике, успеху и самореализации. Конечно, события в их изложении смешивались с легендами, знамениям и слухами. Тем не менее, слухи эти были (в известном смысле) срезом общественного мнения. Словом, летописная традиция скорее верна, нежели точна: дух времени в ней не засорился бухгалтерией фактов.

Задача историка состоит в установлении конкретики типичного. Чрезвычайно сложно нащупать «срединный нерв» эпохи, но только так уясняют субъективную сторону деяния в историософском ключе. М. Пришвин определял тип как «общественную кристаллизацию бывшей некогда индивидуальности». К примеру, трагедия Раскольников экстремальная и контрастирует с типовым антуражем «достоевского Петербурга». А вот история «Распильщикова», питерского доцента-потрошителя, напротив, пугающе типична для эры вялотекущего прорыва. Она однозначна и одномерна, это дикость в высшей степени концентрации, вобравшая в себя и постановочный патриотизм, и ряженую науку, и ролевые игры, и пятьдесят оттенков адюльтер-волонтерства. Иллюзорная жизнь, шоу-смерть, менеджмент преступления и маркетинг наказания. Любопытно, насколько виновен Наполеон Бонапарт в обоих убийствах, что на это скажут историки, реконструкторы и криминалисты?

Каждый хочет оставить после себя житие или хотя бы некролог, но никак не анкету. Дух эпохи невозможно почувствовать, не зная отношения живших тогда людей к небытию. «Memento mori» настраивает вектор «незряшности» жизни, ибо от жизни — следы, а у смерти — признаки. Как говорил В. Ключевский, «природа рождает людей, жизнь их хоронит, а история воскрешает, блуждая по их могилам». Следы запечатлены и в приметах умирания, кризиса, инволюции как процессов, а смерть — фатальный результат. Необходимо различать ориентирующие и достоверные признаки смерти, то же — в анализе упадка империй и цивилизаций (первые не выдерживают испытания величиим, вторые — сытостью).

Симптоматика деградации безотносительна к месту и времени. Как, впрочем, и характер «суправитальных реакций» почившей империи — когда ее тщатся восстановить в отдельных проявлениях, реконструировать техно-уродливо, продукт непременно напоминает Голема или монстра Франкенштейна. Итак, мертвое есть следовоспринимающий объект, тогда как живое — следообразующий. Получается, история нерукотворно писана на саване биологической антропологии, подобно чуду Туринской плащаницы!

Наконец, определимся, чем считать след: или он — доказательство *per se*, или только источник доказательств. Либо он просто продукт исторического метаболизма, либо атрибут вечности (и тогда сам исследователь — персона куда более эфемерная и фигуральная). Формула М. Блока определяет след как «доступный нашим чувствам знак, оставленный феноменом, который сам по себе для нас недоступен». Заметим: недоступность в плане истории, как и в криминалистике, не столько физическая, сколько процессуальная, т. е., в конечном счете, обрядовая, идеологическая. К тому же, упомянутый феномен может иметь разную природу; тут опасно делать непосредственные заключения, отождествляя феномен с фактом, а след с источником. Нам представляется, след в истории есть отображение, причем всегда идеальное (пусть даже на материальном носителе), запечатленное в сознании и культурной памяти. В исторических исследованиях особенно трудно разграничить след и субстрат, на котором тот выделяется. Стало быть, считать его знаком или нет, во многом зависит от восприятия.

Что на ком оставляет след — вот вопрос. По Марксу, «до тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей взаимно обуславливают друг друга». Оценка прошлого близка к правде, если неопровержима ни новыми источниками, вводимыми в научный оборот, ни свежими археологическими открытиями. В переводе на юридический язык, квалификация содеянного верна, когда вновь открывшиеся обстоятельства не способны кардинально ее изменить. Таким образом, изучая оставленный знак, мы должны «возвысить» его от контента и контекста до общего понимания ситуации, ведь и время исцеляет именно в смысле восстановления целостного представления о былом. Как всегда, обретение подобного восприятия запросто вульгаризовать до приведения к одному знаменателю (а то и знаменанию). Унифицировать взгляд на человечество и его историю можно лишь с точки зрения глупости, что блестяще доказано Эразмом Роттердамским. Но сие не повод ставить глупость и смерть в ряд общечеловеческих ценностей.

Изречение Т. Грановского «в разложении масс мыслию заключается процесс истории» можно интерпретировать и в прогрессивном и в регрессивном плане. По нашему разумению, способность уловить, опознать дух времени в конкретных приметах требует не только информированности о фактах. В опознании

больше искусства, чем в следственно-экспериментальных реконструкциях. Здесь огромную роль играют особые приметы, консонансы и диссонансы, «сильные и слабые доли», т. е. события потрясшие и те, что уже перестают удивлять современников — образно говоря, по ним выверяют «пульсовое давление» истории. Безусловно, указанная точка зрения пригоднее для изучения естественных социальных тенденций, коими являются только измельчание и вырождение. Пресловутый «ход вещей» — роковое клеймо, статический след, штемпель базиса политэкономической действительности. Историю масс пишут по этой канве (влияние событий на людей), персоналии же характеризуют, обозначая отношение личности к судьбоносным событиям и участие в них. Если история не зациклена и развивается — значит, в массе обозначилась мыслящая личность; кто-то нарушил, превзошел законы причинности, сотворив собственный контекст. Выдающиеся, творческие личности оставляют в душе народа след динамический (влияние), и чем глубже, тем более характерна история. Это идентификаторы истории, индивидуализирующие культуру. Подобные моменты тонко чувствовал А. Хомяков, оттого его историософия выше формальной системности, логичности и линейности. С другой стороны, ее нельзя назвать бессистемной, алогичной и нелинейной: Хомяков не мыслил альтернативами, как до сих пор принято на Западе. По большому счету, суть истории неизменна. Со времен древнегреческих трагедий, она в отношениях хора, героя и богов: личин, личности и разных -измов, стремящихся ее оприходовать.

Наследуя предкам, мы следуем за ними, и парадоксально — в будущее, навстречу человечеству. Но какой наследник из ведущего следствие по делу наследодателя? Кто все-таки историк: эксперт, присяжный, судья, медиатор или медиум? Не делает ли историю посредственной опосредованность обилием незознаваемой информации?

Актуальное отделяет и отдаляет нас от вечности. По А. Бергсону, «как только действительность сотворит из себя нечто непредсказуемое или новое, она бросает свое изображение позади себя в свое неопределенное прошлое». Возразим: действительность имеет тварную природу, сама же не творит. Действительность есть опошленная обыденностью реальность, дагерротип реального, оборачивающийся то позитивом, то негативом — сообразно углу зрения. Признавая провинциальный характер истории, мы скорее будем ориентироваться на непреходящее — следовательно, превосходить законы, коль скоро те регулируют лишь механизмы инволюции и траекторию падения. Мода на пророчества происходит от утраты чувства реальности. В действительности пророчества на слуху там, где ее считают хаотичной. Профетизм редко оптимистичен, ведь прогресс это мечта, а не пророчество. Да и прорицание не откровение, пророчества всегда сбываются

задним числом (в таком виде и сбываются массам). Важно не ожесточиться злобой дня, дабы за частным не проглядеть общее.

На пути исследования главное — избегать упрощений, геометрической схематизации истории, сведения ее к параллелям и нагромождениям дополнительных построений, политизированных спекуляций и универсальных техно-философских «мультиварок смыслов». Негоже превращать знаменитый хайдеггеровский «дазайн» в броский словесный дизайн, как ранее психоанализ опошили до голливудской фрейдятины, объясняющей «типа всё». Мыслительные контрафакты (несуразные обобщения и фальшивые актуализации) искушают доступностью, тем опаснее путать исторические труды с обвинительными заключениями. Не менее велик соблазн впасть в экзегезу, а из толкователя текстов сделаться собственником стилизации, мета-истории, авторских «эксклюзивных» миров (неспроста столь популярны «лживые саги» а-ля Поттериана или Средиземье). В годину тотальной цифровизации, когда бытие опережает сознание и мир скатывается к виртуальной фикции (ложь и лицемерие уже именуют цифровым интеллектом), чувство реальности поддерживается исключительно памятью. Инстинкт культурного самосохранения проявляется в тяге к подлинному, а оно, настоящее, всегда в прошлом — сие неоспоримо, как преюдициальный факт.

История тем именно отличается от процессов природы, что «в ней явления не повторяются, и происходящее остается для нее лишь воспоминанием». Культурной памятью усложняется архаика и реставрируется (не реконструируется!) облагороженный образ. Прошлое — не всегда прошедшее, оно живет в нас. Как у Тютчева: «я встретил вас, и всё бывое в отжившем сердце ожило... и вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне». Бывое — это прошлое, которое не прошло. А утраченные моменты суть пробелы, требующие восполнения без разрушения гармонии (поэтому некоторые из них тактично заполняются молчанием). «Новое есть хорошо забытое старое» — отнюдь не банальность; правда, в новизне сложно порой отличить дух истории от душного ретро-амбре. Так, искусственные потуги казенного мифотворчества, тэгирования и брендиования истории «глубинным народом» и «можемповторительством» делают нынешние скрепно-державные панегирики анти-историчными и антинародными.

Разумеется, мы далеки от декларации «партийности» криминалистики (тем паче — истории), однако и старый принцип «*cujus regio, ejus religio*» нельзя сбрасывать со счетов, постигая нечто слишком человеческое. А. Гуревич признавал презумпцию «инаковости» постулатом исторического познания. По нашему убеждению, проблема не в инаковости, но в осознании родства искомой культуре. А историк всегда исследует культуру, занимаясь ли персоналиями, артефактами или событиями. Не ощущая этой духовной, почти мистической со-временности

(как в романе Т. Пауэрса «Врата Анубиса») — грех покушаться на расшифровку символики следов. Родная быль всегда ближе, открывать ее более ответственно и перед собой, и перед предками.

Критическое направление в историографии будет первенствовать, покуда не изживет себя подражательность (*nigredo*). Следовательно, народность истории — необходимая стадия (*albedo*) синтеза коллективной памяти и национальной культуры в память соборную (*rubedo*). Отметим: наиболее пронизательные из зарубежных ученых уже на пути к осознанию важности культурной памяти (как камертона историзма) и роли соборной Личности в ее формировании. История есть достояние человечества, единство с которым нам всем однажды предстоит осознать.

Вопросы соразмерности памяти и истории напоминают споры об отличии пресуществления от претворения. Снова дефиниции: если рассматривать память как физиологическую функцию мозга, история неизмеримо выше любой памяти. Наоборот, признавая последнюю вселенским хранилищем знания и опыта, историю следует считать одной из кладовых, откуда можно извлекать информацию под стать средствам обнаружения и фиксации. Как видим, второй подход рискует стать откровенно технологичным и самонадеянно-самодостаточным, как все технологичное. Камень преткновения — в селективности памяти (особенно исторической); секрет ее до сих пор не раскрыт, эта селективность и позволяет уповать на суд истории. Вероятно, истина откроется даже судом не истории, а над ней, что и произойдет в Судный День.

Согласно парадоксу В. Тендрякова, «история — наиболее динамический процесс в природе. Историческая же наука, увы, едва ли не самая статичная из всех наук». Наше истолкование: статичная — ибо так или иначе ориентирована на деяния над-исторических личностей. Словами П. Лаврова, это «мученики, легенда которых переросла далеко их истинное достоинство. В их уста вложат лучшую мысль, до которой доработались их последователи. Они станут недосягаемым идеалом пред толпою». В массах человечность присутствует в следовых количествах, а т. н. общество — не более чем след соборного человечества на Земле. Поэты, мудрецы, святые, революционеры всех времен и народов духовно родственны и преемственны, они вселяют надежду на существование человечества, которое и есть олицетворенный прогресс. Иными словами, образуют постоянную составляющую исторического тока, в то время как прогресс безличный, но видимый (научно-технический) формирует его переменную величину и обнаруживается в толще масс. Получается, последние одновременно являются и слеодообразующим и следовоспринимающим объектом, а сугубо следоведче-

ское их изучение ограничивает историю социальным (объективным) компонентом, в ущерб гуманитарному.

Мы уверены: общий исход (не цель) — в историософском претворении всех исторических дисциплин, подобно тому как юридические отрасли дорастут когда-нибудь до первоисточника (теории государства и права). В культурной памяти живет эон, история же, увы, всё чаще довольствуется хроносом. Не стоит смешивать детализацию с мелочностью и низводить поэзию антропологии до прозы и фразы. История, по нашему мнению — о вечно живом, а не про отжившее.

ВРЕМЯ В ОБРАТНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Можно ли представить историю? Где форма ее?

Историю вполне можно только чувствовать.

Задача историка — почуять Бога.

М. Погодин

Может быть, один взгляд назад

Мне откроет в будущее глаза.

К. Никольский

Задумайся мы, сколько ушедших предков неотрывно наблюдает за каждым нашим шагом — жить станет невыносимо. Выходит, и в ограниченности телесной оболочки есть известный плюс: она не позволяет людям до времени раствориться в том, что принято именовать мировым Разумом (или человечеством). Духовный мир человека плещется в бурдюке телесной личности, проливаясь время от времени вовне: родниками творчества или лужицами креатива — кого как угораздит. И каждый запертый в келье собственного тела — одинаково обречен быть по-своему одиноким.

Живущих без единомышленников, порой даже без современников, мысли о несовершенстве посещают куда чаще. Временное одиночество скорее и вернее всего творит личность из индивидуальности и дает импульс суперации: так неуверенные в себе художники парадоксально веруют в свое предназначение сделать красивее весь мир. Миссия человека — не столько грамотно оприходовать временной ресурс лет для собственной пользы и успеха, сколько максимально израсходовать, растратить его на украшение Вечности, в пространстве которой сохраняются воспоминания о нас и наших трудах. Узреть из колодца звёзды или наплевать в колодец — решать каждому.

По нашему убеждению, прогресс человечества обеспечивается принципом растраты энергии, а вовсе не законом ее сохранения. Даже вынужденно признавая «юрисдикцию» последнего (а потому — условную невозможность существования, к примеру, вечного двигателя), люди каждый раз открывают всё новые источники

энергии и различают в этой связи закрытые и открытые системы. Что-то внутри человека не позволяет смириться ни с ограниченностью его возможностей, ни (тем более) с замкнутостью окружающего мира. Таким образом, и само признание принципа сохранения энергии расширяет горизонты познания в поисках первопричины. В конечном счете, и модная ныне «теория большого взрыва» не есть ли свидетельство верования ученых в некий первоначальный расход энергии, первоимпульс? Кстати, почему бы закон сохранения энергии не трактовать еще и в том смысле, что в людях хранится (либо похоронена) дарованная им творческая энергия? — только вот претворяется и трансформируется она по-разному.

Ошибаются думающие, будто обладающий информацией владеет миром, им правит владеющий временем. Время — вот вечно вожделенное богатство, бесконечно ограниченное вследствие неограниченности в перспективе (русское «у Бога дней много») и конечности в данный момент («перед смертью не надышишься»). Без понятия о времени нет ни истории, ни прогресса.

Время есть путь из множественности в единство, своего рода дефрагментация бытия сознанием. Историческое время претворяется в пространство воспоминаний, которое люди вольны декорировать, кому как понравится: «память — это дерзание, это дорога из прошлого в грядущее».

Любые законы отталкиваются от неких пределов, посему сформулировать «законы развития» невозможно, ведь немислимо развиваться «в рамках», к тому же еще и людьми установленных (напоминает тюрьму). Вот отчего прогресс явственнее в обратной временной перспективе: оценивать его — соборное дело человечества (присловье «история нас рассудит»). Логика законов негативна, они годны разве что для отграничения невозможности, тогда как пресловутое сослагательное наклонение — даже не вне, а сверх регламентов. Возможность — насмешка над закономерностью; в неевклидовом пространстве времени исторические параллели вполне способны пересекаться, усложняя и обогащая и сам ход событий, и (что главное) его осознание.

Сотворяя будущее, мы воскрешаем свое прошлое в его конкретных приметах, идеализируемых по мере отдаления от них. Будь по-другому, людей бы не тянуло в канун Нового года к ностальгическим воспоминаниям, семейным традициям и старым добрым фильмам. Следовательно, т. н. обратная перспектива применительно ко времени — самая верная, ибо отражает как исторический (предки глядят на нас), так и футурологический аспекты (чем дальше, тем шире возможности грядущих открытий; мышление не сужается, не «доходит до точки», не догматизируется).

Гениальность русской поговорки «утро вечера мудреней» в лаконичном обозначении как принципа обратной перспективы, так и особого, религиозного в основе своей настроения: окинуть день вчерашний не столько даже придиричи-

во-трезвым, сколько благословляющим взором. А еще — в намеке, что «настоящее время» есть непроглядная ночь, которую остается попросту переспать.

Человек делается прошлым: и в смысле ухода туда, и в смысле того, что личность формируется воспоминаниями. Все мы движемся в будущее, уходя в прошлое. Получается, настоящего как бы и нет, «есть только миг между прошлым и будущим». Поражает, сколь многократно и многогранно этот образ осмысливается в русской философии:

Падение, оскудение одной эпохи — пусть нашей эпохи — только гримаса, на мгновение исказившая прекрасное лицо, если будущее сомкнется с прошлым в живую цепь (Г. Федотов).

Мы поставлены на рубеже двух миров: протекшего и будущего (В. Одоевский).

Нам довольно воскресить, уяснить старое, и привнести его в сознание и жизнь (А. Хомяков).

Настоящее не подлежит никаким переменам, оно всегда остается точкою (Н. Страхов).

Может быть, поэтому призыв оставаться в настоящем звучит столь определенно и оттого мертвяще: точка, предел, конец. Дзен-буддисты, к слову, советуют пребывать в настоящем, но совет сей вовсе не противоречит вышесказанному, ибо где будущее это мечта, а прошлое — итог, настоящее есть процесс творчества, суперации прошлого. Да, этим процессом и следует жить, он придает смысл и ценность земному существованию.

Примечательно: в русском языке настоящее время в большей степени описывает процесс, нежели результат (то, что англичане называли бы *present continuous*). Результат, свершение — всегда в прошлом, а совершенство — в будущем. Языковое «настоящее время» отличается от будущего лишь волевым компонентом (делаю — сделаю, совершаю — совершу). Таким образом, реализуя планы, мы скорее не приближаем будущее, а усилием воли запираем овещественную мечту в чулан прошлого. Зло не столько в ограничении (процесс), сколько в ограниченности (результат) — оттого немногие прижившиеся в русском языке отглагольные существительные чаще окрашены саркастически (уклонизм, внедрёж, решалы в адвокатуре, кидалы в бизнесе и кивалы в суде).

Замыкая свою жизнь рамками земной экзистенции, обустроив себе любимому уютную каморку с благами цивилизации, человек способен нарушить вечный нравственный закон. История оказывает безжалостные услуги тем, кто покушается на нее, пытаясь оттяпать себе комфортный жизненный интервалчик, обихожанный для успешной «сбычи мечт». Чем больше таких обывателей-времяубивателей, тем безнадежнее цепенеет бытие, увязая в материальных притязаниях мецан.

Процесс ценнее результата, потому-то зло коренится в твари, но отсутствует в творчестве. Зло появилось, как только творчество воплотилось в сотворенном. Зло — небытие, застывшая форма, коей предназначено стать догмой, оно есть обналичивание реальности в действительность, в быт. Возможно, конец света наступит тогда, когда Бог убедится в исчерпанности творческого потенциала людей: коли сотворили всё, на что способны — пора уходить. Значит, пока в наших силах не разочаровывать силы небесные, хоть люди и склонны увлекаться сиюминутным в ущерб вечному.

То, что можно объяснить исторически контекстом — устарело. Развитие обеспечено не столько уверенностью в безграничности человеческих возможностей, сколько безграничной верой в неистощимость творчества. Получается, время не столь уж непрерывно-циклично-размеренное, и при желании можно не топтаться у парадного подъезда, но войти в новую жизнь, отперев двери ключами знания и опыта. Цикличность — не бесконечность, а безнадежность. Тем не менее, «стрелки идут по кругу, время — идет вперед». Каждый этап прогресса есть своего рода синтез, превосходящий установленные рамки закона или жанра. Фигурально говоря, пробующий без изрядного ускорения подняться по нисходящему эскалатору — неизбежно съедет вниз. Кто пытается идти к прогрессу в ногу с веком, прогресса не узрит и не достигнет.

Итак, пространственная перспектива может быть какой угодно (прямая-обратная, линейная-нелинейная), но временная — скорее всего, только обратной. Это подразумевает не ретроспективное ностальгирование, а историческую ответственность перед теми, кто жил прежде нас и с кем мы непременно встретимся по окончании земного пути (по Н. Федорову, «долг сынов — возвращение жизни отцам»). Не посраим предков — значит, и в благодарной памяти потомков останемся. Пресловутый «жареный петух» — русская «птица счастья завтрашнего дня» — всегда клюет сзади, из дня вчерашнего.

О ГОРНЕМ И ДОЛЬНЕМ

Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!
А. Белый

Но согласны и сапог, и лапоть,
Как нам наши версты не любить:
Ведь браниться здесь мудрей, чем плакать,
А спастись легче, чем ловить.
Ю. Ряшенцев

История не вечное возвращение и даже не вечное воскрешение, она есть воскрешение Вечного. В целом исторический и нравственный прогресс основан на чувстве (не)соответствия современников своим предкам, героизированным в воспоминаниях и мифах. Таким образом, все подвижники мира — своего рода потомки единого праотца, легендарного Данко, который пожертвовал собственным сердцем ради спасения людей: «так зажглась от судьбы судьба».

По версии Ж. Мишле, история есть вечный поединок между свободой и фатализмом. Это как в былинах о Святогоре: непрактичные люди всегда непомерны действительности, оттого и беззащитны перед мелочами вроде сумы переметной. Тот, кого не держит земля, осилит ли земные тяготы? Быт — великое искушение, и стремление «вписаться» в пространство обыденности губительно, как тот гроб, что Святогор почел аккурат для себя сделанным. Горькая ирония в том, что как только он ограничил себя пространством, пришло время помирать. Вообще в русской крови живет стремление изведать нечто за установленными пределами, испытать Судьбу. То же — с Ильей Муромцем, который одолевает фатализм (убиту быть, женату быть, богату быть), избавляется от последнего искушения (богатства), раздав его людям, и каменеет, застывает в легенде, исчерпав возможности брэнного существования и торжествуя над выбором.

Примечательно: идея судьбы серьезно разработана в тех культурах, где сильно мифологическое сознание: у славян и скандинавских народов. Яркие подтверждения — судьба Кмитца («Потоп» Г. Сенкевича), христианская трилогия

П. Лагерквиста и, конечно, замечательные исландские саги, вся прелесть которых — в идее Рока, еще более неотвратимого, чем кровная месть.

Судьба предполагает совокупность реализованных возможностей, в каждой из которых рок — как предустановленная причинно-следственная связь. Если возможности определяют сознательный путь, судьба сама ведет человека, и это зовут призванием. Когда человек склонен к метаниям и шараханиям, рок довлеет над ним. Не зря в русском языке можно сказать «счастливая судьба», но рок всегда злой, и фатальность есть обреченность. По словам прп. Амвросия Оптинского, «когда человек идет прямым путем, для него и креста нет. Но когда начинает разбрасываться из стороны в сторону, вот тогда появляются обстоятельства, которые толкают его на прямой путь. Эти толчки и составляют для человека крест». Как наглядно и «координатно»!

Рок это, к примеру, смертность всего живого; судьба — перспектива обесмертить себя творчеством. Рок — своего рода напоминание о цикличности, вечном возвращении; судьба — шанс такую безнадежность преодолеть. Одним словом, судьбы могут и не стать роковыми, а вот рок всегда судьбоносен. Русский сюжет «витязя на распутье» весьма показателен — есть горький анекдот, живописующий нынешнее безвременье и русское к нему отношение: остановился Иван у трех дорог. На перепутье камень лежит, а на нем и написано: «Направо пойдешь — по морде получишь; налево пойдешь — по морде получишь; а прямо пойдешь — по морде получишь» Призадумался Иван, и тут откуда-то сверху прогремел глас: «Решай скорей, а то прямо здесь по морде получишь!» Итак, назойливо испытующий судьбу обрящет Рок, а рок — большей частью тяжелый и всегда недобрый.

Там, где людьми управляет ход вещей, жизнь абсурдна, а где Человек дерзнул властвовать над ним — парадоксальна. Вспомним изречение Петрарки: «ставить существо дела в зависимость от времени есть верх безумия». По большому счету, ход вещей не что иное, как инволюция. Прогресс же идет по пути единения сознательности лучших людей с осознанностью их поступков современниками: не ницшеанское «великое презрение», а великая благодарность за то, что прошлое рождает в нас вечное чувство неудовлетворенности и желания лучшего. И если неудовлетворенность обыкновенно обращена к безличным субстанциям (власть, экономика), то благодарим мы лично — наших учителей. Вот она, роль Личности в истории: именно наставники — образцы мудрости и «люди, делать бы жизнь с кого» — и есть наши современники.

Человеку суждено осознавать дуальность и относительность времени и относиться к нему (и ко всему, что в нем), пребывая в вечных поисках синхронности, совпадения и созвучия. «Мои соседи по месту это одни существа, а мои соседи во

времени — другие. Время это как свобода, место — как необходимость. Прошлое по месту — могила, во времени — музей. Мое будущее во времени — там, далеко», писал М. Пришвин.

Гармония случается, когда на наш призыв отвечает Вечность, и мы слышим этот ответ. Гармония есть резонанс человека с Вечностью; она там, где время исчезает, где о нем не задумываются: от «что было, то и будет» (Еккл.1:9) до «времени не будет» (Откр.10:6). Примечательно: обе цитаты одновременно безысходные и оптимистичные — смотря что брать за основу, цикличность или суперацию. История исчезнет в двух случаях: или это небытие, или вне-временная легендарно-вечная жизнь.

Легенды появляются тогда, когда пространственно-временной континуум преобразуется антиномиями и парадоксами («здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты»). Именно настоящее время в России — самое призрачное от дефицита в ней настоящего, подлинного. Это восполнялось уверенностью в будущем (религиозный компонент) и верой в прошлое (компонент психологический). Легенда как метод возвышения над контекстом и контентом фактов, дабы по-настоящему рассказать историю, в которой тема Судьбы орнаментирована узорочьем причин и следствий. А вдруг сотворение легенд и есть наше национальное видение истории?

Вечность Святой Руси в том, что вечно живы ее обитатели. По той же причине русским не свойственен узколобый национализм: Святая Русь обетованна для всех в нее верующих. Это истинно христианский взгляд на вещи: как писал В. Розанов, «мы исповедуем религию, рассекающую узел бытия». Русская авральность происходит от специфичного понимания времени не как непрерывного процесса, а как разрыва цепи привычных событий озарением. Привычка «долго запрягать, но быстро ехать» — от сознания катастрофичности, прерывности времени, смиренного ожидания момента, когда настанет наш час. Квантовые скачки и есть моменты просыпания русского человека «в мире невозможном». Ближний здесь гораздо дальше дальнего, человека будущего: благодаря характерному временному сдвигу, светлое будущее в России всегда близко, рукой подать. Оттого и вера в кардинальную перемену к лучшему так сильна; главное — перетерпеть схватки исторических родов.

Приведем изящную брежневскую сентенцию: «время имеет не только протяженность, но и объем». Нам представляется, что сей объем (зон) — во всемирно-историческом масштабе соборного Человечества. Местечково-шовинистский колорит непременно низведет историю до лубочно-развлекательного сторителлинга. Но История это притча, а не байка или репортаж. По мудрому замечанию М. Пришвина, «время — замена случая, а случаи бывают лишь в личном созна-

нии. Если нет личности, нет и случая и времени нет». Выходит, исторические личности если и не формируют эпоху, то уж точно ее оформляют. Ход вещей выводит на сцену только предводителей деградации, а явление миру гениев — дело счастливой и судьбоносной случайности. Отечественная история не столько массовая или же личная — она Личностная: ее не делают, ее творят. Исторический провиденциализм имеет мало общего с формально-позитивной логичностью. Русский авось скорее не от фатализма, а от сознания безответственности прогресса, а значит — от надежды на волю Божью, по которой прогресс вдруг да и станет людям во благо. Принятие вчерашних гонителей есть суперация вражды: «кто нам мешает, тот нам поможет». Так, сглаживая в памяти заусенцы проблем и жертв, романтизируется и эстетизируется прошлое; так за деревьями видится лес.

Вопреки социал-дарвинистскому предписанию «жить по ветру», в отечественной версии порядок вещей потребно переломить, назвав вещи своими именами и, собрав камни, расставить все на свои места (ре-волюция). Любопытно: природоведение в России начала XIX в. называлось естественной историей, т. е. подразумевалась неприменимость естественных, природных законов к истории человеческой. Как остроумно заметил Г. Федотов, «русская жизнь смеется над эволюцией и обрубает ее иной раз только для того, чтобы снова завязать порванную нить». Прерывность времени в России отчасти сродни древнеегипетскому концепту, где хронология стартовала с первого года правления каждого фараона (при незыблемости принципа Маат). Зависимость хроноса от власти и независимость от нее зона — та же.

Память уничтожить сложнее всего, из нее почти невозможно вытравить образ, мечту. Уничтожая сведения о былом (в т.ч и путем их переоценки, пере-сведения), власть в духе преемственности отрицания сама формирует субстрат образа светлого прошлого. Это особенно действенно тогда и там, где лучше завтрашней лжи — лишь вчерашняя правда. Минувшее в России не антиквируется, а почти сразу становится легендой благодаря порочной практике резкого дистанцирования временщиков и реформаторов (коих было предостаточно) от национальной истории. Сейчас это особенно драматично проявляется в форме «делириум временс», безумного потрясения реликвиями и регалиями.

Если прошлое мыслится не основой, а вершиной, будущее автоматически катится под уклон. Стремиться «сделать, как тогда» глупо: до чего жалки и смешны ура-ретрограды, отчаянно теребящие причиндалы истории в надежде вызвать патриотическое возбуждение! Тягостно и обидно быть очевидцем безвременья; в этот период кто не падший, тот упадочный, и в поисках «повода жить» люди начинают всё чаще вспоминать о былых победах («сплотимся гордо вокруг родного флага, и пусть кипит утекшая вода»). И даже завидуют современникам вели-

ких событий и свершений. Чем сусальнее и пафоснее красота былого, тем мутнее представление о цене побед, тем пошлее лоснится затертый почитанием образ минувшего: гордость вырождается в спесь. Петля времени неотвратимо и беспощадно затягивается на сытой шее недостойных наследников, вызывая идеаторную асфиксию — с синюшностью идеалов, экхимозами лозунгов и фатальным нарушением мозгового кровообращения. Бывали и такие случаи, когда власть увлекалась ретроспективной маниловщиной: яркий пример — ориентация последнего (кровавого) императора — на царя Алексея Михайловича Тишайшего. Стоит ли уточнять, в чем повторился бунташный век?

Удивительное и уникальное исключение — Советский Союз, с подлинно народной властью, устремленный в светлое будущее — к осуществлению лучших чаяний прошлого (того, о чем во все века мечтали трудящиеся). Здесь не было противоборства между имманентной ретроспекцией массового сознания и перспективным мышлением лидеров, оттого и невиданный прогресс за какие-то семьдесят лет; то самое гоголевское «вперед!», исторически осмысленное и творчески воплощаемое. А вот участвовавшие в РФ властные ретро-стена-ния по СССР — явно не к добру.

Скорее всего, ход времени определяется преобразованием количества властных злоупотреблений в анти-качество, не-доверие власти, отношения с которой у русских особые и непростые: будучи в глубине души анархистами, они признают преходящий характер официальных институтов, а чиновники эксплуатируют людское терпение, нагло расширяя свои полномочия в мире действительности. И поскольку ничто так не постоянно, как временное, царство власти в России географической породило исход в Русь былинную: жертва пространством, чтобы выиграть время — это по-кутузовски!

Русские своеобразно понимают абсолют вне-временного пространства и относительность временного безвременья. Кажущееся застоём (как правило, с позиции власти) народ благословляет как стабильность (тургеневское описание застоя как желанная «оказаться на самом дне реки»). По мнению И. Аксакова, счастье застоя в «спасительной неподвижности». Властную же стабильность чаще всего именует безвременьем: оно отзывается в сердце горьким осознанием временности всего окружающего, непрочности и вообще — бессмыслицы бытия. Напротив, то, что принято называть застоём, позволяет планировать, выстраивать вектор времени. Безвременье есть зримая зрящность бытия, застой — мечтательное предвкушение выбора на перепутье. В вопросах застоя и стабильности важен не столько критерий подвижности, сколько момент сознательности (а ведь даже на просто осознание могут уйти столетия!) Вот отчего информационно-технический прогресс ускоряет время до бешеного галопа, вот откуда драмы провальных

реформ и не приобщенных к исторической памяти манкуртов. Вполне может стать, что утрата исторической памяти поколением т. н. зумеров — социальный вариант болезни Альцгеймера: с растормаживанием влечений, гротескным поведением и саморазрушительной деменцией.

Ветер перемен веет, главным образом, с Запада — и разносится публичными (во всех смыслах) людьми, обеспечивающими «гильотинирование традиций духа в области социально-политического строительства», как выразился А. Волынский. Приметы времени оставляют верные псы режима, помечая закоулки истории малоприятными секретами. А простые люди словно бы оправдывают свое непротivление численным перевесом плохих новостей и давлением авторитета сильных мира сего.

По Тютчеву, «здесь человек лишь снится сам себе». Однако вопреки рас пространенному мнению о «сонной России», развитие ее (на первый взгляд) и впрямь не столь очевидно. Народ наш перманентно пребывает в переходном состоянии духа, где, (словами Белинского) «человек есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем». То есть призрачность — да, а вот сонность — едва ли. С известной долей приближения, такой безостановочный процесс можно уподобить фазе «быстрого сна» со сновидениями, подчас фантастического характера. Но сон России обломовский, а не летаргический — сознательный, а не вынужденный. Как писал П. Чаадаев, «мы никогда не жили под роковым давлением логики времен». Нравственное и эстетическое неприятие действительности выражалось даже в том, что обеспеченные русские семьи предпочитали воспитывать своих чад в тепличных условиях, ограждая от пошлости жизни. Отсюда мечтатели и «лишние люди», однако это всё же лучше, чем культивировать приспособленцев.

Время лишено смысла, если не думать о со-временности. По мнению В. Тендрякова, «привычно любить родину, кусок пространства, где ты появился на свет. И почему-то никогда не говорят о любви к своему времени». Заметим: принято говорить скорее даже о «временах», почему-то во множественном числе: «бывали хуже времена, но не было подлей». И проецировать их вовне, связывая преимущественной с политикой, но не примеряя на себя: «было при царском прижиме», «при Ельцине», «во времена коллективизации» и т. п. Да, «времена не выбирают, в них живут и умирают», мы не вольны избрать свою эпоху, но определиться с современниками вполне можем. Одним привычнее существовать в эру цифрозоя и тиктока, для других — «и Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди!» Третьи, принужденные выживать, надеются переждать беспощадную путину клепто-инноваций, а потому не переживают по поводу философских вопросов. Удивительно, но даже почитающие себя современниками Сократа — вовсе не су-

масшедшие и уж тем более не ретрограды. Они слышат позывные будущего в облагороженном их памятью историческом идеале, ведь только иррациональное сознание воистину прогрессивно. Неспроста Данте избрал себе проводника по загробному грядущему из лучших умов прошлого.

Русские — в большей степени современники легендарных (в т.ч. и литературных) персонажей. До сих пор можно еще услышать о тургеневских девушках или чеховских интеллигентах. Советская культура благословляла и продолжала традицию, прививая ее с детства героями Гайдара и Кассиля, чуть позже — незабвенными «крапивинскими мальчиками». История СССР в этом смысле остро нуждается в серьезных исследованиях, которые проведут не ангажированные Голливудом и не соблазненные кремлевскими грантами образованцы, а истинные ученые-подвижники.

У Советского Союза не было исторических предтеч и аналогов, и потому особенно показательно, кого строители первого в мире государства рабочих и крестьян считали современниками. Не говорим о Ленине и его соратниках (их авторитет известен и незыблем), но кроме них — Робеспьер, Бабеф и даже античный Спартак. А вот существует ли нравственно-эстетический камертон цифровой действительности — собирательный, но особенный «герой нашего времени»? Допустимо ли представить Тимура Гараева и Гейку Рахманова успешными волонтерами, проводящими тренинги командообразования на «Территориях домыслов» и мечтающими накопить денег на хадж? Можно ли выделить героя «эпохи гласности и нового мышления», шкурных девяностых или времен собчаковских и покоренья Крыма? Нам представляется, что он торгаш: при Горбачеве сбывал кооперативные шабашки, при Ельцине — украденные у народа средства, в эпоху державного гиньоля — за депутатскую неприкосновенность он продал и останки чести, совести и человеческого достоинства. Возможны ли Павка Корчагин и Женька Столетов в нынешнюю эпоху трескучих скреп и стабильности катастроф? А тем паче — реальные люди, равняющиеся на литературных героев?

Прогресс немислим без преемственности, но то должна быть преемственность суперации, а не причинности. В этом превосходении — и смысл реформ, и суть принципа осуществления прогресса регрессивными (иногда — революционными) средствами, ибо только такой метод обеспечит движение вперед, не прерывая связь времен и тем самым обеспечивая историческую ответственность. Славянофил И. Аксаков полагал, что цивилизация не преподносит перед человеком никакого определенного, положительного идеала. Поэтому мерка цивилизации всегда позади нее, а не впереди, т. е. она измеряется сравнительно с прошлым, а не по отношению к будущему.

Весьма вероятно, что каждый из нас в общей картине мира меньше, чем штрих или нано-пиксель. А история народа всего лишь полутень или вообще лес-сировка. Остается надеяться, что мироздание красиво и гармонично. Бог не авангардист — ему некого перегонять. М. Гершензон считал русский народ ребенком по знаниям, но стариком по жизненному опыту и основанному на нем мировоззрению. Согласимся: отличительная черта и детского и старческого возрастов не столько даже наивность, сколько отсутствие цинизма, связанное с особым отношением к времени. Русское нравственное чувство это прежде всего сознание исторической ответственности, окрашенное чувством прекрасного. Как перфекционисты, живущие по принципу «чистые погоны — чистая совесть», русские в молчании (и по умолчанию) склонны уповать на суд Истории, под которым подразумевают скорее Провидение, нежели эволюцию.

ОРДАЛИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Благо небытия перевесило злобу дня.
А. Фет

Кто Богу не грешен, тот царю не виноват.
Русская пословица

В мировоззрении русского человека истинная природа мира противоречит его видимости, оттого действительность здесь реальна, но реальность официально признается недействительной. И как нет ни одного истинного христианина, но христианство истинно и пребудет ныне и присно и веки веков, так и в русском сознании существующее несовершенно и далеко от сущего и должного. Многими отмеченная смиренность как национальная черта (А. Мицкевич называл ее «героическим рабством») отнюдь не означает желания приспособиться к бремени. Нести свой крест не значит приспособиться к обстоятельствам, безответность — оригинальный вариант «ответа на вызовы». Возможно, русская «непостижимая кротость», которая так восхитила И. Аксакова, есть своего рода гармонизация «страшной силы» народа. Если б не «удаление его в себе и к себе», выход из себя обернулся бы жуткими разрушениями, ибо остановиться в ненависти и насилии крайне сложно. Русская кротость — прелюдия русской неукротимости.

Правители лютовали, надеясь на посмертное признание и понимание. Простой люд уповал на посмертное избавление и еще на народ, т.е на себя же в ипостаси соборной Личности. Все под Божьей юрисдикцией, и гражданская война может выступить как Божий суд, коему предшествует моментальное катарсическое отрезвление русского народа, когда он вдруг ужаснется своего положения. Ордалии действенны, где логика уже никого не убеждает, и вся надежда — на нечто жутко впечатляющее.

За рубежом образ России плотно спаян с государством. Можно сказать, даже вытеснен имиджем страны. Между тем, иностранцы, имевшие опыт общения с простыми людьми, отмечали резкий контраст между стереотипами пропаган-

ды и незлобивостью и душевностью русских. «В нашем народе нет индивидуального стремления к власти: оно заключено у нас в сословные рамки бюрократии», говорил М. Пришвин. Отношение русских к власти приблизительно то же, что и к смерти: в действительности она вроде и есть, но по-настоящему — смерти нет. Любопытное наблюдение К. Аксакова: «народ считает необходимым государство, которое вытягивает из него государственные соки, очищает землю». Это и об эксплуатации, и о мудрой политике не-отождествления страны и земли, державы и Родины. Иными словами, о культивировании аполитичности народа, которая и мыслилась основой патриотизма как в дореволюционной России, так и в СССР: неспроста К. Леонтьев называл царизм принудительно-общинным и сословно-социалистическим строем. Правитель и народ — две данности и константы, а исправить проще величину переменную. Образно выражаясь, декабристы пытались сверху решить проблему связи правителя и народа. Народники пробовали делать то же «снизу», просвещая народ. А большевики решили вопрос комплексно, целиком устранив главную помеху — кастово-сословную бюрократию.

Власть не считается с мнением масс, считая их претензии неисчислимыми. Массы не выполняют требования власти, считая их бессчетными. Отсюда полшага до классического ленинского «верхи не могут, низы не хотят». Режим вынужден выдавать желаемое за действительное, вот в чем корень вечного недовольства и властью, и российской действительностью — по причине лживости первой и ложности второй. Соблюдение внешних, формальных приличий особенно важно там, где практикуется имитация деятельности и, соответственно, негласная взаимная договоренность о неразглашении (национальный вариант т. н. общественного договора).

В плане анти-энтропийном власть есть сильнейшее (ибо технологичное) искушение, упрощающее процесс сдерживания благодаря принуждению. Но декларативная, юридическая отмена инволюции абсурдна, поэтому быстрее всего изживает себя и деградирует именно та власть, что законодательно запрещает деградацию, а не предотвращает ее.

Государство пыталось пересилить народ избыточностью требований, а народ превозмогал бюрократию избыточностью трудовых усилий. Результирующая этих формально противоположных векторов должна бы (по логике) сводиться к нулю, не имея направления. Однако же имела, и не вперед, а вверх! Возможно, традицию чрезвычайности и избыточности усилий сформировала грабительская политика государства. Чтобы насытить легионы паразитирующих чиновников, требовалось работать на износ, поэтому редкие в нашей истории эпизоды высочайших «послаблений и леготы» сопровождались долгожданным отдыхом, застроем. И все понимали, что это — привал перед авралом. Трудно найти демокра-

тизатор эффективнее аврала. Петр Великий, пожалуй, впервые в нашей истории возвел его в государственный принцип, заставив все классы совокупно трудиться ради высшего (едва ли общего) блага. Когда аврал — все герои (фраза Ю. Крелина), а стало быть, возможен лишь там и тогда, где ощущение общего дела формируется общностью ценностей и прежде всего — общей верой.

Рабство питается чувством несоизмеримости и разнородности, а русская идея — в единении. Это не ассимиляция, а сосредоточение, концентрирование сил и средств, предпосылка таинства претворения. Нет единства — и общее напряжение может разрядиться гражданской войной. Социум распадается, когда убеждения становятся делом не личным, но частным. На этом основан, в частности, практикуемый ныне колониальный типа-федерализм: метод Хоттабыча, снисходительно предоставляющего каждому игроку попинать свой мячик. Как у М. Анчарова: «раньше все были равные, а теперь все главные». Лишь бы повиновались верховному джинну. Суть в постоянстве хаоса, ведь видение (или видимость) порядка — своего рода оптическая иллюзия, зависящая от приближения. И если власть имущие представляют дела в стране весьма приблизительно, это и называется утратой чувства реальности. Сейчас повсюду и во всем — политика, никто не настроен работать. Политиканы мнят себя демиургами и лидерами мнений, фабрикуя сенсации и забавляясь кровавым пиаром. Прав Б. Вышеславцев: «власть действительно принадлежит дьяволу, если вся иерархия ценностей извращается: власть никому и ничему не служит, кроме себя самой, не признавая над собой ничего высшего». Бюрократия становится полностью безответственной, считая народ не опорой своей, но подножием. Тем более что (как писал В. Розанов) «в бюрократы идут лишь наиболее грубые элементы общества, наименее ценящие себя и в себе — все высокочеловечное».

Бюрократия — это профанация государственного управления, когда каждый лавочник и мозговитее и деловитее любого чиновника. Тем не менее, средний класс не может быть опорой государства хотя бы потому, что едва ли ринется его защищать. Буржуа предпочитают оплаченную безопасность, они не пойдут воевать за отечество, предпочитая формулу «кто к нам с мечом придет, у того мы его и купим». Пока не обозначились серьезные проблемы, филистеры поддержат власть голосами на выборах и налогами. Они отчасти создают, но в гораздо большей степени потребляют материальные блага, они — пользователи стабильности, но не защитники ее.

Миссия политрежима — в стимуляции масс к работе, т. е. в преобразовании их потенциала в энергию действия. И здесь от лидера зависит, какие качества людей тот стремится активировать: тягу к творчеству и созиданию, или же угрюмую злобу — последнее пробудить и поддерживать намного проще. Для поддержания

тонуса борьбы достаточно элементарной альтернативы: дразнить образом врага — тактика без затей, но именно так по сей день принято запугивать население. Людей ежеминутно пичкают инфоповодами, всё чаще — фатального содержания (баратынское «толпе тревожный день приветен»). Мало шансов задуматься, обыватели предпочитают переключаться на более свежие новости, и сплошной инфо-токсичный поток разъедает социальный организм, доводя реакцию общества до агональной фибрилляции. Это можно уподобить гигантскому файлу подкачки, куда непрерывно сбрасываются из оперативной памяти всё новые и новые беспорядочные команды. Фрагментированный файл начинает зависать, а потом и вовсе рухнет, отказываясь отвечать на запросы и вызовы.

Быть политически грамотным значит быть аполитичным — и чем дальше от политики, тем ближе к правде. Убогая действительность сама отрицает властное словоблудие, выдающее неисправное за непоправимое. Вернейший признак упадка — когда объяснения наподобие «так уж повелось» и «так всегда было» становятся универсальными, а любую подлость предваряют мантрой «не мы такие — жизнь такая». Как чтить законы там, где они суть узаконенное беззаконие? Отсюда нигилизм и опасные стереотипы т. н. негативных гарантий (правды нигде нет, справедливости никогда не добиться). Борьба за выживание не требует нормирования и законов, она полностью исчерпывается верховенством инстинкта самосохранения. В годину безвременья наибольшей роскошью становится самоуважение. Провластные настроения сегодня культивируются и подаются настолько пошло, бесстыдно и бездарно, что отвращают даже потенциальных сторонников — шоу-богему и зумеров, юнцов без совести и принципов. Такие предпочитают держаться трендов, но брезгливо отворачиваются от аляповато-лубочного ретро, выдаваемого за писк нео-патриотической моды.

Чем кривее рожи, тем нужнее зеркала — дабы попенять. Карикатура оттого и схематична, что она есть не более чем иллюстративная констатация идеи, пусть даже и остроумной. Перед гражданской войной общественные отношения откровенно карикатурны, до неприличия гипертрофированы и деформированы: вместо людей — идеи в сермяжках предубеждений. В конце концов, останутся только народ и его враги, «наши» и «контра». В отличие от Фемиды, Ненависть слепа от рождения, но вершит справедливость по тому же принципу — невзирая: давно пора спросить с тех, кто не утруждается нас спрашивать. Предубеждения, как и суеверия, происходят от схематизации мышления, вызванной утратой чувства реальности. Предвзятость — условный рефлекс социального взаимодействия.

Награждают непричастных — еще полбеды. Но когда верхи начинают осуждать и карать безвинных, терпению людскому приходит конец. «Страданиям его нет числа, и переносит он их не терпеливо, а с глухим и страстным отчаянием» — вот

слова анархиста М. Бакунина о русском народе. «Этот народ отшатывается от страшной власти не потому, что слаб и от трусости поддался насилию, а оттого, что предпочел ослепнуть от черного блеска зла, чем взглядеться в него», напишет спустя почти полтора столетия В. Библихин. Истинная классовая ненависть (как эмпирическое обобщение) вызревает там, где низы осознают, что не чей-то злой барин, а абсолютно все власть предрежающие — враги простого человека. И тогда уступки верхов уже не имеют большого значения: ненавидящие — всегда максималисты и потому не мелочны. Как говорил В. Розанов, «только не веруя более ни во что, можно требовать для всего свободы».

К роковой черте людей приводит окающая политика. Чем больше в нее вовлеченных, тем ближе пожар гражданской войны (заметим: пожар верховой, ибо раздувается ошалевшей от безответственности властной верхушкой). Ему предшествует короткий период затишья, ошибочно принимаемого за стабилизацию. Саспенс щедринской «знаменательности безмолвия» вызван обстановкой, когда уже некому верить, не с кого спросить и некому пенять. Воистину, всем и каждому Бог судья, до того тупиковый расклад. Ни у кого нет морального права на поступок, и тем более — морального долга поступки совершать: ситуация и впрямь по ту сторону добра и зла. Выйти из нее без разрушения и насилия невозможно, и здесь не может быть примирений, коалиций, гражданского общества и согласия. Вот якобы перевод стихов Дидро, приписываемый Пушкину:

Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.

Воевать вынуждены все со всеми, и каждый — в надежде на общую правду и высшую справедливость. Тот, кому до фонаря — ведает ли, что всякий фонарный столб ожидает своего висельника? Вспомним строчки кн. Вяземского:

Он загорится, день — день торжества и казни.
День радостных надежд, день горестной боязни.

В отличие от войн колониальных, гражданскую заказать нельзя, в ней ярко проявляется провиденциализм истории. Это крайняя мера, жестокая хирургия — когда консервативная медицина уже бессильна. В гражданской войне непременно побеждает народ — те, кто осознают себя таковым, а не просто «массами».

По версии Г. Федотова, «политическая структура революции сходна со структурой самодержавия: они обе допускают возможность безумия власти и возлагают на народ ответственность за ее безумие». Сравним с формулой С. Аскольдова: «революция — это своеобразный психологический момент некоторого «народного самодержавия». Ордалии гражданской войны — претворение людей в народ

идеалом всеобщей ответственности. Значит, итогом станет неизбежная архаизация отношений, «обновление стариной» — таков рецепт лечения инволюции передозировкой архаики, тем самым не давая обществу скатиться к дикости истинной, первозданно-зверской. П. Струве писал о Смутном времени: «польское вторжение развернуло смуту в национально-освободительную борьбу, в которой во главе нации встали ее консервативные общественные силы, способные на государственное строительство». Характерно, что народ подобную практику, как правило, приветствует, ибо видит в прошлом преимущественно ностальгические моменты и, стало быть, не против возврата старых добрых времен. В. Ключевский блестяще охарактеризовал древнерусское мирозерцание: «не трогай существующего порядка, но поучайся им как делом Божиим». Мы предоставляем логическим субстанциям доходить до закономерного абсурда, а над-законным парадоксам — претворяться в судьбу. Русские никогда не пользовались моментом: наша история жертвенна, а не эгоистична.

САМОДЕРЖАВНЫЙ АНАРХИЗМ ПРОТИВ АНАРХИИ БЮРОКРАТИЗМА

Устройство насчет свободы
столь же противно блаженству нашему, как и самые узы.
А. Радищев

Без свободы нет любви,
А в любви нет свободы.
А. Градский

Политическая история России являет собой блеск и нищету диалектики, олицетворяя безвыходность отрицания народа властью и власти — народом. Это как два зеркала напротив друг друга: бесконечность отсутствия перспективы, пощедрински — «жизнь под игом безумия». Следовательно, рассмотрение проблемы исключительно в ракурсе государственного управления не даст ничего, кроме тенденциозных измышлений, извращающих отечественную культуру и откровенно ей чуждых.

Прежде всего стоит задуматься: что есть власть? Ответ на (вроде бы, очевидный) вопрос — далеко не однозначен. К примеру, известнейшая апостольская формула «несть бо власть аще не от Бога» (Рим. 13:1) задана как двойное отрицание. Можно ведь трактовать и в стиле лозунга: «нет» — власти, если та не от Бога! Вот в этом «аще» (коли-ежели) — по нашему разумению, вся соль. К тому же, смиренно повиноваться (поступать по слову) и быть послушными (поступать по воле) — вещи весьма несхожие. Власть свыше непостижима, она в суровой правде необратимости содеянного людьми и неотвратимости ответственности за содеянное. Власть человечья — дрессура, ультимативное и тотальное господство, обременяющее чем угодно, кроме выбора. Насилие неизбежно и беспардонно, руководствуется правилами крайней необходимости, превращая живую душу в предмет манипуляций. Субъект власти — одновременно объект ее ненасытности: «чудище обло, озорно, огромно стозевно и лайя». Такая двойственность

подневольности способна причудливо деформировать характеры сильных мира сего. Не оттого ли выдающиеся русские правители-преобразователи (они же, чаще всего, тираны и деспоты) были в глубине души отчаянными (или отчаявшимися) анархистами?

Оговоримся: анархизм искажен множеством стереотипов; самый популярный — типаж разухабистого морячка, крест-накрест перетянутого пулеметными лентами. Дабы избежать модного ныне блогерского популизма, считаем необходимым определиться с терминологией. Мы убеждены: анархизм восстает против политики, тогда как анархия является ее порождением. «Не справедливо ли будет, если мы назовем анархическим такое состояние общества, когда оно самодовольно засыпает?» — вопрошал М. Салтыков-Щедрин. Стало быть, анархия — в преобладании бессознательного автоматизма; это псевдо-равноправие, броуновское движение самолюбий и амбиций. Наглядный пример — пресловутая рыночная экономика, тотем колониальной «демократии на экспорт». Интеракции здесь скорее даже не беспорядочны, а стихийны и обусловлены произвольными реакциями на внешние раздражители (как тут не вспомнить модный тренд «ответов России на вызовы»?) Предустановленная «гармония рынка» столь же иллюзорна, как и обывательский миф о воле цыганской. На поверку — царство необходимости с принципом талиона и жесткой кастовой иерархией.

Бездействие (или недееспособность) государства актуализирует беспощадные законы выживания. В лучшем случае в одичавшей популяции сохранятся табу, в худшем — возобладает неизбирательная «объективность» естественного отбора: неспроста П. Кропоткин, характеризуя анархию, проводил аналогии с животным миром. Следовательно, анархия есть хаос управленческий и потому вполне управляемый — вот над чем впору поразмыслить изучающим колониальную политику т. н. «развитых стран». На постсоветском пространстве методично насаждается типа-либеральный способ разрешения от бремени власти: фрагментация, низведение ее до полномочий с последующим их делегированием — как сдача мелочью. При этом абстрактно-декларативные юридические гарантии призваны-де заменить вечное «мне отмщение, и аз воздам». Буржуазное общество тщится компенсировать экономическую анархию юридическим авторитаризмом норм «правового государства», усугубляя двойственность фиктивностью. По большому счету, циничный нигилизм изначально встроено в вектор развития права, ибо сермяжная суть всякой судебной тяжбы — отсрочить высшую справедливость, запутав дело в земных инстанциях. Сгладить, нивелировать неотвратимость ответственности. Торговаться с правосудием, поначалу заменив кровную месть вирой, а потом избежать расплаты: от расчета в рассрочку (далее со всеми остановками) до процедуры банкротства. Словами И. Киреевского, «мы охот-

но удвоили бы наши пожертвования, лишь бы уменьшить наши обязанности». В итоге и сам концепт правового государства (по мнению А. Карташева) «рассматривается по-адвокатски, как некое анонимное общество на паях, где права и вес покупаются простым акционерством, даже не вкладничеством».

Естественно, в подобных условиях собственно власть отходит на второй план. Благополучие мещанина обусловлено, главным образом, безопасностью — статусом, нишей в пищевой цепи: такой расклад называют «стабильностью вертикали». Чиновники — те же буржуа, обыватели власти, мечтающие прихватизировать квадратные метры насиженных мест в министерствах и департаментах. Бытие их сугубо меркантильно, а сознание сужено рамками регламента — отсюда рефлекторное выполнение директив и еще более ценных указаний. Государство само отрицает себя, превращая властный аппарат в административный механизм, безответственно-уполномоченные запчасти которого незамысловаты и легко заменяются. Вместо усложнения системы — нагромождение и запутывание структуры, процедурно-помпадурные интриги.

Бюрократы — главные разносчики анархии. Они, блюстители и адепты властной обрядности, не более чем ее антураж, безликие и безглагольные статисты. Сознывая свою никчемность, чиновники меньше всего склонны быть «государственниками», ведь им не понаслышке известно, кем загажены социальные лифты. Более того, если вне политической повестки бюрократы просто жулики, то с учетом политконтекста — уже враги народа. Следовательно, их расчет — на влиятельного барина-покровителя и на социальную инерцию. Встраиваясь в аппарат, функционеры вынуждены приноравливаться и к верхам и к низам, выступая посредниками «консенсуса» (чаще и проще всего — рыночного, торгашеского). Экзистенция откупщика власти условно легальна, но фактически неправомерна. Бюрократ видит в коллегах конкурентов, а в соотечественниках — доносчиков, оттого и пребывает в вечной ажитации — «на измене», как говорят в местах, от которых чиновникам грех зарекаться. Словом, коррупционная «экономика бюрократии» — облигатно присваивающая, ресурсозависимая; здесь не может идти речи о каком-либо «производстве», включая производство порядка. По В. Ключевскому, «в России даже анархия воспитана и разведена на казенный счет». Отстаивая шкурный интерес, чиновник извращает и само понятие преемственности, отождествляя мертвую рутину с вечно живой традицией. Это блестяще описано К. Марксом: «так как бюрократия делает «формальные» цели своим содержанием, то она всюду вступает в конфликт с «реальными» целями. Она вынуждена поэтому выдавать формальное за содержание, а содержание — за нечто формальное».

Припомним формулировку «князь власти воздушный» (Еф. 2:2) — налицо ассоциация с беспочвенностью, искусственностью концепции государства, априори не идеальной. Власть земная условна и, в конечном счете, обусловлена поведением масс: за грехи все обречены прозябать под игом. Держава приходит в упадок, когда власть опошляется массовостью (конкретнее, опускается до бюрократии), а служение Отечеству превращается в службу и профессию (мутируя в гешефт). Излишняя специализация «государевых людей» рождает чувство ответственности, однако не пред народом или историей, а перед непосредственным начальником. «Ничто тако раскол творит, как любоначалие во властех», писал протопоп Аввакум. Действовать согласно буквы регламента есть крайняя необходимость чиновничества, выбор меньшего зла, лишь бы выжить в хаосе реформ и тисках коррупции. Следование инструкциям — это делегирование ответственности наверх, цивильная сервильность. Бюрократия движется по колее, указанной правителем, отсюда и косность мышления и узость ее кругозора. Чиновное поголовье — даже не рабочие лошадки (грешно обижать умных и благородных животных, к тому же — друзей человека). Бюрократия это состав, идущий по рельсам: неспроста говорят «эшелон власти».

«Государевы люди» — приверженцы не процессуального порядка, но материального режима; им выгоднее допустить самоуправство, чем развивать самоуправление. Анархия, как мы убеждены, есть существование «по умолчанию» государства, а не без него. В благословенные советские времена слово «чиновник» было для партийных работников если не оскорблением, то болезненным критическим замечанием, чуть ли не стигмой. Ныне засевшие у кормила любую критику себя любимых объявляют разрывом скреп и подрывом устоев: тут, дескать, «слово и дело государево!» Морали вообще трудно ужиться с политикой, слишком уж последняя эффекто-ориентирована. Политика руководствуется единственным правилом — «не гнушаться»; она есть последнее прибежище бездарности, для подлого приспособленца она единственный способ заполучить авторитет и положение. Под гнетом монструозно-официозной махины жизнь общественная закономерно мельчает, съезживаясь до приятельских посиделок с кухонными спорами и сардоническими шутками про власть имущих. Анархизм апеллирует к сознательности, способной преодолеть как социальную апатию, так и бюрократическую анархию. М. Пришвин утверждает: «поступать бессознательно — обыкновенно по желанию, а сознательно — значит, против желания. Истинное чувство долга состоит в торжестве над искушением выбора».

Согласно парадоксу Г. Федотова, «демократический характер диктатуры в том, что ее цель — сделать себя ненужной». Заметим: речь идет больше о демократичности вождя, чем о собственно демократии per se. В бакунинской «Испове-

ди» есть удивительные строки: «Я думал, что в России более чем где-либо будет необходима сильная диктаторская власть, которая бы исключительно занялась возвышением и просвещением народных масс — власть свободная по направлению и духу, но без парламентских форм; с печатанием книг свободного содержания, но без свободы книгопечатания; окруженная единомыслящими, освещенная их советом, укрепленная их вольным содействием, но не ограниченная никем и ничем». Многие склонны видеть здесь фигурально-верноподданнический реверанс анархиста царю Николаю, мы же не находим ни тени иронии: истинный порядок там, где убеждение царит над мнениями (похожую идею высказывал и славянофил И. Киреевский). Единогласное принятие решений ничуть не противоречит идее вождизма и тоталитаризма. Соборность — нечто более высокое, чем демократия, и потому менее объяснимое. Она есть равенство без формальной иерархической доминанты, в соборности всё определяется моральным авторитетом. Демократичным может (и должен) быть подлинный вождь, масса лишь принимает его решение. Просто принимает, без полемики и критики — вот в чем нюансы смысла слова «принятие» как приятия. Конечно, для этого правителю надлежит быть личностью исключительного масштаба. Значит, соборность — в большей степени дело сознательного смирения, нежели выборной демократии — последняя всё равно рано или поздно инволюционирует до тирании.

Анархия — беда общая, тогда как анархизм личностен и конкретен. Анархист прельщает еретически-отчаянным настроением и энтузиазмом деструкции; в нем кипит недовольство конкретными условностями власти, выстрадавший и потому убедительный протест против институтов и учреждений — «ныне суд есть миру сему: ныне князь мира сего повержен будет долу» (Ин., 12:31). Стало быть, анархизм за власть безусловную, другого не дано. Анархия — это верховенство случайного над вечным, анархизм есть приоритет закономерного над случайным. При этом нелишне помнить: случайность незаконна, а закономерность всегда упадочна.

Анархия потому мать порядка, что изживает себя в личностях анархистов. Прочитируем не по годам мудрого Сен-Жюста: «Мы охотно считаем себя ригористами в делах принципов, но, как нередко встречается, придя к власти, отбрасываем принципы, ставя на их место свою волю». Всё верно: воля мутирует во власть, а та — в господство. Анархизм неизменно и непременно отталкивается от актуальной формы власти — сиречь от политического режима. Однако сущности и содержания власти не отвергает, как и факта ее социального бытия, ибо не по Гавриле принцип. Таким образом, анархизм одномерен в своей протестной направленности и неизбежно увязнет в политическом болоте, плутая по адovým дорожкам благих намерений.

Протест дееспособен, когда усилен массовостью и олицетворен вождем. Народ и государство как душа и тело: дух в вечном порыве преодолеть путы и узы, тело же — в озабоченности поддержания формы (парафраз Ювеналова «*Mens sana — in corpore sano*» идеально подходит для диагностики политических проблем). Получается, и народ и правитель чуть ли не перманентно пребывают в состоянии эдакой дисморфобии, вечного недовольства формами правления как суррогатом власти. Вождя и народ объединяет своеобразное презрительно-потребительское отношение к механизму власти: на то и придуман, чтоб работать безотказно, но жить собственной жизнью у него права нет, ибо всякий механизм мертв по определению. К слову, народ способен лишь откатить государственную машину назад, в лучшем случае — раскатать, когда та забуксует. Вот почему нужен кто-то за рулем, руководящая и направляющая сила.

Вульгарно-«демократическое» господство большинства — всего лишь вопрос перевеса силы, а ключевая идея анархии в антагонизме без арбитра и вообще без третьей стороны. Тут строго субъект-объектные отношения, причем каждый мнит себя исключительно субъектом и тщится отстоять собственный интерес. В итоге все упорствуют в типовом заблуждении, думая, будто власть и свобода — синонимы. Бесспорно, понятие власти напрямую связано со свободой, которая имеет, в свою очередь, две ипостаси, в чем-то сходные с видами энергии: потенциальную (независимость) и кинетическую (произвол и риск). Важно отметить: риск не право, скорее — осознанная необходимость вмешаться в ситуацию без гарантий успеха и даже элементарной безопасности. Твердая воля и внутренняя независимость делают человека морально готовым к риску. Таков образ русского витязя на распутье: чтобы взять на себя ответственность, мало быть просто отзывчивым (т. е. «ответствовать»); необходимо в известном смысле превзойти инстинкт самосохранения, а это уже самоотверженность.

Естественно, сие априори чуждо бюрократу; его задача — сохранить неправомерно полученный статус (а коли доведется заползти повыше — то не рискуя, по «лестничной системе», автоматически занимая опустевшее кресло). Это даже не вассалитет, а немудреная схема иерархического сервиса; эдакое фрактальное холопство, в основе которого «аромат власти», авторитет занимаемой должности. Именно им обеспечивается влияние по умолчанию, без принуждения и грубого насилия. Бюрократия сильна массовостью и адаптивностью — стало быть (в силу умственной и нравственной ничтожности) способна лишь паразитировать на авторитете, подрывая тем самым доверие к государству. Скажем больше: чиновным представителям власти надлежит при случае прикрыть ее представителей от народного возмущения. Однако хрестоматийная схема хорошего царя при плохих боярах не работает там, где боярами мнит себя вся царская дворня: функционеры настолько

деперсонализированы, что трудно изболтать в злоупотреблениях кого-то конкретного. Как следствие — огульное отрицание системы, именно в лице конкретных предстателей. Чиновники сами создают ситуацию, когда воздавая по делам их, народ станет руководствоваться не формальными показателями, а чем-то иррациональным и потому безукоризненным — интуицией, обобщением, выросшим из предубеждения и безверия. Это пресловутый «нюх на контру», классовое чутье. Таким образом, бюрократизация власти катализирует и потенцирует упадок режима. Нет нужды в государстве, коему безразлично нравственное состояние народа: вновь (как и в апостольской фразе) формула двойного отрицания!

Там, где в политике бытует преемственность отрицания, преемственность историческая обеспечивается самозванцами. Так, протест против «ненастоящего царя» Годунова привел к появлению настоящего Отрепьева. Даже слова «управленец от Бога» — двусмысленны. Вероятно, самозванство столь характерно для отечественной истории оттого что рефлексирющие мучились т. н. «комплексом самозванца», тогда как самозванцами становились персонажи без комплексов. Первые жили «во имя», вторые объявлялись «от имени и по поручению», нахально предъявляя «верительные грамоты» от Всевышнего. Выходит, самозванство порождается и потенцируется не столько вакуумом власти, сколько ее моральным банкротством. Глубинная суть русской Смуты — в утрате идейных ориентиров и тщетной попытке заменить их прагматикой.

В данном контексте чрезвычайно интересно рассмотреть русские «эстремумы функции государства»: фигуры царя и юродивого. Оба персонажи принципиально не массовые и не типовые, оба вне закона (пусть и по разным основаниям). Когда легальные средства исчерпаны, их миссия и привилегия — обращаться к народу напрямую, изумляя его «зрелищем странным и чудным». И оба — анархисты от пресыщенности властью: кому духовной, кому — подушной. Юродство как неприкасаемость, царство как неприкосновенность — две стороны сакральности власти, а сакральность и анархизм схожи в самоотречении. Словами патриарха Никона, «священство выше царства есть»: сакральность всегда радикальна, ибо абсолютна. Не бывает третьесортных мучеников, преподобных второго эшелона и святых среднего класса.

Мыслимо ли «проправительственное юродство»? Столь же абсурдно утверждать, будто юрод — оппозиция власти: оба (каждый в своем служении) борются с «врагом человеческим», князем мира сего. Понятно, что для царя сие фатально как борьба с самим собой, ведь государство есть средство, а не цель. Скажем, полемика иосифлян и нестяжателей — по сути, размышления о возможности христианского образа жизни в государственно-устроенном обществе. Выводы иосифлян анархо-приспособленческие (с акцентом на подобие), а нестяжатели —

анархисты, ибо апеллируют к образу. «Для верующего отношение к государству есть дело второстепенное и случайное», пишет славянофил И. Киреевский. «Идеал христианства — теократически тоталитарен. Евангельское откровение в состоянии превзойти своим праведным социальным максимализмом все обольщения безбожных социальных реформаторов», утверждает последний обер-прокурор Святейшего Синода А. Карташев. Епископ Кассиан (Безобразов) резюмирует: «трагедия России заключалась прежде всего в том, что она пыталась соединить несоединимое: тоталитарное государство с христианским строем жизни». То, что славянофилы именовали «властью земли», есть массив моральных устоев, обычаев, верований и других элементов культуры, коих совокупность и претворяет людей в нацию. Иными словами, социальный строй: он важнее собственно государства (как целое всегда сложнее составных частей), и в идеале государственная власть должна его поддерживать. Надо ли объяснять, что столь громадный культурный пласт малоподвижен и априори консервативен?

Юродивые — своего рода катализаторы преобразования населения в народ. Происходит это подспудно, но проявляется чаще всего спонтанно, нужен лишь повод: как призвание королевича Владислава в 1610 г. или Кровавое воскресенье 1905 г. «Мерилом доверия народного станет только мученичеством засвидетельствованная святость», говорил А. Карташев. Самопожертвование — это жить так, будто ты вечен. Подвиг русского юродства есть оптимистическая трагедия, демонстрация отчаянного бесстрашия в запуганном и отчаявшемся обществе. Не потому ли юродивых особенно почитали именно в периоды рецидивов деспотизма: при Иоанне IV, Петре I, при Николае I? Да и сама земная жизнь человеческая не есть ли анархистское отрицание законов умирания?

В эпоху святых князей жестокая внешнеполитическая реальность, угроза суцпостатов формировала правление как подвижничество. Собираение земель в XIV–XV вв. было «делом Боговым»; после свержения ордынского ига своего уже требует Кесарь. В этой связи нельзя не упомянуть события, разграничившие эпохи Святой Руси и православного царства. Г. Федотов указывает на воцарение Грозного (1547 г.), мы же полагаем, что тенденция проникновения политики в вопросы веры формировалась как минимум полтора века: здесь и осуждение митрополита Исидора на Московском соборе 1441 г., и борьба с ересью жидовствующих при Иване III, и обвинения в ереси Максима Грека и Вассиана Патрикеева (соборы 1525 и 1531 гг.), и концепция «Третьего Рима», и амбиции Избранной Рады. Характерно: религиозная доминанта прослеживается во многих преобразованиях Иоанна IV, но — вкупе с анархистским пренебрежением к стяжателям и служащим культа. «Нигде ты не найдешь, чтобы не разорилось царство, руководимое попами», пишет Грозный Андрею Курбскому. «Еще на митрополию не возведен,

а уже связываешь меня неволею!» — такова царская отповедь Герману Казанскому. Предубеждение правителей к «поповской политике» сохраняется в Смутное время и усугубляется в период раскола. Закономерный финал — учреждение Петром Великим Синода и секуляризация церковного управления.

Святость уходит оттуда, где отстаивается анархия формализма. Юродствуют, когда духовность бюрократизируется в обряды бесчисленных суеверий. Привилегия юродства — презрение к бытующим приличиям. Безвременье повышает спрос на будильники, и юродивый напомнит об этике, когда царь заиграется в политику: он воздаст кесарю — кесаревым же, причем в затерроризированном обществе, где многие готовы молиться на правителя, лишь бы в репрессиях с ними обошлись по-божески. При этом оба апеллируют к единому (и, по сути, единственному) источнику власти. И в царях, и в юродивых прозревается ее иррациональность, объяснить которую вряд ли представится возможным. Пожалуй, лучше всего сказано у Пришвина: «истинной властью пользуются только мертвые; власть живых есть бунт, претензия, самозванство и насилие».

Несомненно, правитель должен быть достоин своего народа. Обратный вариант невозможен уже потому, что народ, недостойный вождя, никогда его таким не провозгласит. Но что сотворяет народ мерилом возможностей? Не сам ли вождь, акцентируя дорогие ему черты народного характера? — в этом и заключен секрет его демократизма. Демократизация есть интоксикация народа политикой: проще всего возглавить толпу, кроме отрицания и агрессии ничего не исповедующую. Куда сложнее пробудить в людях тягу к самоотверженному созиданию. Итак, вожди ваяют народ из масс, и тут уж дело морального облика и эстетического вкуса, кто кем станет: лидером или фюрером, Гарибальди или Муссолини, Мюнцером или Гитлером.

Царь взывает Вечности, для народа же он — ее олицетворение, залог и символ нерушимости общественного мира, строя и лада. Вот почему обновляться — только стариной! Царю суждены скрижали и анналы; о них он и помышляет, предоставив обыденность «псарям». Народ чувствует, что попал в историю, страдая от чиновного произвола. А бюрократы существуют временно, кожей чужую темпоральность — и потому стараются не улучшить, а лишь улучшить момент (кто вечно на подхвате — не упустит шанс прихватить). *Carpe diem* их девиз; они не заботятся ни о будущем, ни о памяти, которую оставляют потомкам, отойдя в прошлое — это типичные временщики.

Культурный принцип «уступи хаму» определил вектор развития чиновной оккупации России: агрессивный и анти-этичный. Выкрики щедринского Органчика («не потерплю!» и «раззорю!») емко выражают сермяжную суть государственного регулирования. Правда, коли уж власть вольна разорять (собрать

налоги), пусть хотя бы не потерпит моральной деградации себя любимой и общества в придачу. В противном случае кому и зачем она вообще нужна? Мы считаем, в России власть роднит народ и вождя тем, что оба отрицают ее как технологию; бескомпромиссность сего отрицания и была камертоном народного доверия.

У верхов рациональные интересы, у низов — вера в освобождение и светлое будущее, которое наступит, если срезать верхушку. Правда с теми, у кого вера. Иерархия и официоз обесцениваются, авторитет переходит к Личности: именно она («человечная индивидуальность», как определял ее Э. Ильенков), имеет моральное право быть выше правил. Возможно, и поэтому тоже — русская история сама по себе очень нелинейно-личностная, а зарубежная более «социо-логична» и во многом детерминирована алгоритмами. К примеру, каков контраст неизбежности орднунга и неисповедимости царских гнева-милости? Наглядным примером высказанного нами тезиса является печально знаменитая опричнина, которая (по версии В. Ключевского), «выводя крамолу, сеяла анархию и колебала сами основы государства».

Симптоматично: в ранний период правления Иоанна IV правда обретает инстанции, а вера — регламенты (Судебник и Стоглав). Однако вскоре царь осознаёт: нормотворчество (особенно в вопросах идеологических) усугубляет анархию, поелику где нет порядочных, порядку не бывать. Террор вполне мог стать реакцией на последствия «реформ по закону». Иоанн Васильевич пытался определить границы стеснительности собственной власти и стеснения собственно властью. Он первый решился власть исповедовать, и она не простила этого ни ему, ни Руси. В известном смысле его грозное правление есть апология анархо-монархизма (столь же поучительная, сколь трагическая). Вероятно, отсутствие масштабного народного сопротивления опричнине было связано с тем, что репрессии, во-первых, декларировались как расправа с изменниками и казнокрадами; во-вторых, воспринимались карой за грехи — подобно тому как в старину крестьяне не тушили пожара в домах, загоревшихся от молнии, ибо видели в том волю Ильи-пророка и не смели перечить. Немыслимый сплав насилия и покаяния сгущал атмосферу ужаса и агитации, неотделимую от всего истинно сакрального. Как говорят на Руси, «страшен сон, да милостив Бог»: при Грозном на «власть от Бога» еще уповали, после Грозного свыше (словно по блату) пошли помазанники.

Нестерпимый человек без нетерпимой обстановки — заурядный абьюзер. По А. Герцену, «в тиранстве без тираний есть что-то отвратительнейшее, нежели в царской власти». Тирания чем-то сродни юродству, особенно в желании превзойти гордыню и не искушать массы призраками свободы (только во уме своем глаголаше к Богу: «Господи, не постави им греха сего»). Пусть лучше обратят взоры к предстоятелю власти, коего удобнее критиковать после делегирования ему ответственности (по Иоанну Златоусту, «я называю Его царем, ибо вижу Его распятым»).

Предел власти есть несправедливость, чаще всего воспринимаемая с позиций (де) компенсации. Если недостижимо равенство в милости, то во гневе его обеспечить достаточно просто. Получается, тирания уже повод осознать общность ошибок и прегрешений — и ощутить себя единым народом. Как при Иоанне IV: неразборчивость стихии террора переплавилась население в нацию, где понятие элиты (в западной трактовке) стало нонсенсом. В пророческом стихотворении Ап. Майкова «У гроба Грозного» есть строки, исключительно точно отражающие парадоксальный демократизм самодержавия, в отличие от хрестоматийного абсолютизма:

...но царь пребыл царем.
Навеки утвердил в народе он своем,
Что пред лицом царя, пред правдою державной
Потомок Рюрика, боярин, смерд — все равны,
Все — сироты мои.

Воистину, когда властителю милее бюрократы, народ остро переживает свое сиротство. Чувство исторической реальности определяется тем, кого и что царь узрит в народе (абстракцию или конкретику). Народ же чувства сего утратить не может, он и есть сама реальность. В целом выстраивается образ власти, вмещающий оба компонента, которые, тем не менее, неслиянны и нераздельны. Бюрократизм и анархизм — элементарное уравнение социального баланса, где уважение к правителям от Бога и отрицание управленцев по профессии заложено в основу национальной системы сдержек и противовесов. Анархизм есть короткое замыкание власти, минуя бюрократию; анархизм — это поэзия аврала: неспроста в советской литературе существовал типаж героя-борца с волокитой, штурмовщиной и очковтирательством (деятельность его была ключевой драматической линией жанра «производственного романа»). Анархия предполагает существование «в порядке вещей», тогда как анархизм проповедует жизнь «по понятиям». Мы сознательно использовали сей оборот, дабы подчеркнуть, что принципиально отрицающий государственные институты криминал существует в координатах жестких кастовых правил.

Анархизм реконструирует порядок на обломках режима, освежая осоловелую привычку беспардонностью единоличного произвола. Очень верно у И. Киреевского: «произвол в правительственном классе называют самовластием, в управляемом — свободой». Стало быть, анархизм есть достоинство монархов и вызов монархии. Бездарные правители, желая возвести себя в высшую степень, окружают свою персону тысячами чиновных нулей. Но рано или поздно на эти нули придется делить власть, а такое табуировано не только в арифметике. В идеале же государь действует не для народа (оказывая ему услуги), а во имя идеи, которую вместе с народом исповедует.

СПАСЕНИЕ КАТАСТРОФЫ

Быть русским — значит бесстрашно сказать действительности «Умри!»,
помня о воскресении.
А. Белый

Выгорю без палева и воскресну набело:
Вечный фокус Феникса — русская судьба.
Н. Русомиров

В мире Богом созданным, вряд ли может существовать абсолютное зло — скорее изолганное добро. Зло — сопромат бытия, выдающий банальности за вечные истины, своего рода «технология добра». Добро же не бывает механистичным или альтернативным, ибо выбирать принято меньшее из двух зол. Не бывает и «добра с кулаками», как гласит русская пословица. Зло стремится извести добро, а добро никогда не было на что-то нацелено, к тому же — не вознамерится вообще что-либо уничтожать, потому в конечном счете торжествует (не всегда побеждая).

Дело веков исправлять нелегко, но устои далеко не всегда основы. Зачастую за «столпы» принимают ржавые конструкции или архитектурные излишества. Революция есть попытка изжить зло его избытком, бороться с преступлениями власти путем массового преступления запретов, этой властью выдуманных. И как в избытке своем явление очищается (катарсис), так и кровь революции может быть исторически оправдана: это муки социального творчества, пролог к созданию чего-то нового. Пролог, но не залог. С данной точки зрения, Апокалипсис — тоже своего рода революция, мрачная токката перед вторым пришествием Спасителя. Как у А. Герцена: «всем на свете стало дурно жить — это великий признак. Кайтесь, господа, кайтесь — суд вашему миру пришел!» Эпоха первоначального уничтожения в период революции столь же неизбежна, как в капитализме эпоха первоначального накопления. Словами А. Радищева, «много было писано о праве народов, но законоучители не помышляли, может ли быть между народами судия. Когда ненависть или корысть устремляет их друг на друга, судия их есть меч. Кто пал мертв или обезоружен, тот и виновен».

Мрачно, когда война из исторического факта переходит в повседневную психологию людей, такой войне не суждено скоро кончиться. Неумолимый закон в том и состоит, что истинный конец ее есть гибель всех участников: в благородной суворовской фразе «война не закончена, пока не похоронен последний солдат» заключен мрачный подтекст. Аналогий масса: и Апокалипсис, и Рагнарёк, и битвы полубогов с асурами. Знаменательно: в финале находятся двое не запятнанных антагонизмом, они-то и продолжают род человеческий. Новый мир на руинах старого будут строить внутренние эмигранты, в противостоянии не участвовавшие.

Истинно (не обязательно истово) верующий не опасен для окружающих, ибо совершенствование мира начинается с себя. М. Погодин считал, что в человечестве «уравновешиваются по закону необходимости все противоположные силы людей, действующих по закону свободы» — подтверждая тем самым тезис «свобода есть осознанная необходимость». Еще точнее выразился А. Хомяков: «свобода есть качество отрицательное, не дающее само по себе никакого содержания». В миру страшно безразличие, формальная объективность, она же — безличная безответственность. Зверь сидит в человеке и предательски ожидает повсюдного воцарения Зверя, так же как Бог в человеке ждет Второго пришествия. Предпосылки светопреставления многообразны: С. Франк отмечал крушение кумиров, Н. Бердяев — кризис гуманизма, Г. Федотов — культурный упадок, В. Зеньковский — возрастание религиозного индифферентизма, О. Шпенглер — закат Европы. Буржуазный концепт свободы — каиново алиби: «разве сторож я брату своему?» Каноническое «но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» относится к лояльным — эти и к температуре уст адаптируются. Важно помнить: Всевышний не поощряет приспособленцев, и первыми оккупанты нагрянут к тем, у кого хата с краю.

Самая трагичное на свете — наша ничтожная беспомощность перед неизбежным, даже уточнять время имеет смысл лишь в формате обратного отсчета. В этом мире гарантированы лишь неудачи, а успех случаен. Стремление постичь т. н. «человеческую природу» во многом сродни попыткам натуралистов изучить животный и растительный мир, опираясь на законы эволюции. Постоянным, самым стабильным и неизменным в людях остается низменное, однако грех выдавать такое за пресловутую натуру человечью. Еще грешнее объяснять регресс неизбывностью животного в людях, антагонизмом духовности и брюховности. Жизнь телесная — уже испытание собственностью, когда содержание «Я» отождествляется с оболочкой, формой. И свободная воля — возможно, та «субъективная сторона преступления», что заставляет нас осознанно и несознательно уродовать окружающий мир, свершая акт вандализма над Божьим творением. Что если антихрист — неизбежное порождение царства необходимости? Возмож-

но, появившийся на свет враг человечества не знает, что ему уготовано: иными словами, антихристом не рождаются, им становятся — и тот станет лже-мессией, псевдо-миротворцем. Возможно, даже удостоится Нобелевской премии, посулив соблазнительную альтернативу задавленным несправедливостью людям (как в песне: «капитаны слышат звезды, в их обман поверить просто»).

По мнению А. Карташева, «история providенциально сотериологична, а сотериология — конкретно-исторична». Вдруг откровения о спасении праведных — это перспектива коммунизма, который узрят немногие спасшиеся? Но лишь сознательные, а не скопом и не все подряд. Увы, люди не всегда понимали, что коммунизм в большей степени Путь, а не цель. Мыслимо ли «практиковать» его, как йогу? Смогут ли в КНР или в КНДР построить коммунизм? При всём уважении к мужеству, идейности и трудолюбию китайских и корейских товарищей — осмелимся заявить: по нашему мнению, едва ли. Исторический опыт показал, что «восточный коммунизм» рационально-беспощаден: самый жуткий и веский аргумент — режим красных кхмеров. Без христианской любви и русского универсализма идеал коммунизма идеологизируется в директивы по организации изнурительной работы на благо державы. Согласимся с мнением С. Франка: «из великой любви к грядущему человечеству рождается великая ненависть к людям, страсть к устройению земного рая становится страстью к разрушению». «Благодетели-освободители» потому часто бывали беспощадны, что в земном мире существуют особи, индивиды и массы, пока не претворенные в мудрое человечество. Реформаторы, эти душелюбы и людovedы, жестоки, ибо не ощущают разницы между «практическим человекопользованием» и исповеданием гуманизма. Аллегорично — в песне группы «Аквариум»:

Он сказал: «В такие времена, как наши,
Нет места ненаучной любви», —
И руки его были до локтей в землянике,
А может быть — по локоть в крови.

Возможно перспектива Апокалипсиса как никогда близка. В. Бибихин пишет: «полюса, чтобы быть противоположными, должны находиться в одном измерении». В полном соответствии с законами «социальной физики», однополярный мир в странах «золотого миллиарда» фатально притягивает противоположный полюс — афроазиатское нищенство, окрашенное в завистливую зелень исламистской злобы и нетерпимости. В итоге не поздоровится никому, чему лучшее доказательство — антимусульманские настроения в благополучных еще совсем недавно «белых» странах.

Остается верить, что наступит время созревания людей для всеобщего следования завету «от каждого по способностям, каждому по потребностям». А пока

и социализм необходим, он проповедует сопричастность вместо собственничества. Вот слова щмч. Иларiona (Троицкого): «никакое самое деспотичное государство не может прожить без социализации некоторых сторон жизни. Социализм желает людям добра; всё, что говорится о добре, что к добру стремится — всё это желанно для христианина». И победа социалистической революции в отдельно взятой стране стала возможна именно в России, которую проще «отдельно взять» (русский мир самодостаточен). Приведем суждение «апостола реакции» К. Леонтьева: «соединение самодержавия с коммунизмом, который на Западе есть кровавая революция, у нас — монархия и вера отцов». Русские не любят начальство, но с пиететом относятся к вождям, взвалившим на себя груз исторической ответственности и ставших орудием судьбы, ибо вожди призваны воплотить посыл справедливости, который и есть промысел Божий (по Н. Карамзину, «народ ищет добродетели, оправдывающие власть самодержавную»). Зло на Руси до боли очевидно, поскольку всеми осознаваемо, в том числе и самими злодеями. Здесь трудно прикрыться титулами и регалиями в надежде укрыться от Высшего суда.

Эстетика истории еще и в том, насколько исчерпали себя (или, наоборот — реализовались) выразительные средства той или иной формации. В России выразительность (и выраженность) этих средств каждый раз доводилась до абсолюта. Следовательно, до самоотрицания, за которым либо абсурд либо авангард. Везде прошлое неизбежно, а будущее возможно. Русский образ мыслей меняет координаты местами, а потому прошлое весьма возможно (в силу непредсказуемости его оценок), и значит будущее (как воскрешение идеализированного прошлого) — неизбежно, вот в чем заключается наш апокалиптический, эсхатологический оптимизм. Рискнем предположить, что истинно русским способом познания мира является кардионозия, сердцеведение, донкихотство: заставить себя видеть романтику в остервенелом мире, где (перефразируя Л. Дербенева) налицо ужасное, доброе — внутри.

Высоты не боишься, смотря снизу вверх — каждый из нас раб Божий, но вот божье рабство невозможно. Иными словами, наше мышление насквозь парадоксально, но таковы и святость и подвижничество. Как не вспомнить столь впечатлившее Бисмарка русское «Ничего!»: в этом возгласе — удивительный сплав отчаянности (как деятельного безразличия к собственной участи) и упования на добрый исход, ибо человек в конечном счете не одинок. В песне «Ничего!» на стихи Ю. Кима есть примечательные строки:

Мы победим, за нас весь шар земной,
Разрушим тюрьмы, всех врагов разгоним,
Мы наш, мы новый мир построим,
Свободного труда,
И заживем коммуной мировой!

Итак, русское «ничего» не проникнуто пафосом нигилизма или апатией нирваны. «Ничего» — о ничтожности препятствий в этой жизни, где настоящий человек не имеет права ничего после себя не оставить. Русский апокалиптический оптимизм — в строчках «это есть наш последний и решительный бой», «неудержимо идти в последний смертный бой», «последний бой — он трудный самый». Конечно, смысл отнюдь не в милитаризме, а в идее противостояния року. Пожалуй, самое трогательное подтверждение — история со стихами Р. Грейнца о гибели крейсера «Варяг». Австрийский поэт хотел выразить ужас и бессмысленность смерти, но перевод его стихов, сделанный Е. Студенской, стал гимном мужеству и стойкости, и одной из любимых русских песен:

Прощайте, товарищи! С Богом, ура!
Кипящее море под нами!
Не думали мы еще с вами вчера,
Что нынче уснем под волнами!

И здесь — трагическое воодушевление: так чтоб если и уйти, то с чистой совестью и чувством исполненного долга. И — непременно всем вместе! О том же — страшное напутствие протопопы Аввакума староверам: «И сожигахуся огнем своею волею. Блажен извол сей о Господе. Боишься печи той? Дерзай, плюй на нее! До печи страх-от, а егда в нее вошел, тогда и забыв вся». Катарсис, вера в обновление обнулением, катастрофой. Священный аврал, когда все и всё разом и сразу.

Русская идея свободы — в готовности к риску. Если практиковать «свободу от...», можно заявить «каждый прожитый день приближает меня к смерти», если исповедовать «свободу для...» — «каждый прожитый день приближает меня к Жизни вечной». Святая Русь — страна вечно живых. Это мы грешные здесь, на Земле, пока надеемся заслужить вид на жительство в Святой Руси. И соборное человечество — концепт истинно православный, притом чисто русский. Жизнь не умрет, и ушедших воскрешают те, кто их для себя оживил в памяти и в деяниях. Своего рода теоморфизм: человек ищет образ и промысел Божий во всём, что открывает для себя.

Дикость жизни может быть исправлена только всеобщим преобразованием. Мир не альтернатива войне, а нечто подобное опыту барона Мюнхгаузена, сумевшего вытащить себя за волосы из трясины. Мирное время не плацдарм радикальных преобразований, оно для развития культуры, которая, дефрагментируя массы, объединяет, связывает их общими установками и ценностями — обеспечивая тем самым причастность каждого к общему. А значит — животворящее ощущение цельности, наполненности бытия жизнью.

Культура создает ощущение эпохи как фундамент грядущих перемен. Так, осознавший себя новой исторической общностью, советский народ мог свер-

шить небывалое. Именно момент «застойного» процветания был вычислен заокеанскими хозяевами предателя-Горби как самый благоприятный для деморализации. Критерий гармонии в человеческих отношениях — взаимное доверие, и здесь же критическая точка, воздействие на которую гармонию враз уничтожает. Критическая точка советского сознания именовалась «здесь и сейчас». Непременно свой (причем обязательно партийный и «со своей молодой женой») должен был заявить о зряшности семидесятилетней советской истории и дать команду «кру-гом!» Приближая светлое будущее и трудясь во славу его, многие морально сломались, как только им вежливо предложили комфортный перекур с перекусом, возможность отовариться импортом и даже откровенно посудачить о возможности секса в СССР. Консервативно-инертный и неагрессивный социум неспособен к полицейским разворотам и считает такие движения неприличными — не в пример привычным к задо-вилянию шилозадым иудам-космополитам. Те сразу смекнули свою выгоду и не замедлили выплыть на поверхность. Так советское общество в самом преддверии коммунизма разделилось на растерянных и ушлых. И постеснялось постучаться в двери будущего, тем более что ушлые убеждали: за дверью — слишком великолепно; нам бы сперва набраться евро-манер, лоска-политеса да приодеться поприличнее, от «Burda Moden». Социум, впервые за тысячу лет не обремененный сверхзадачами и чрезвычайными поручениями, утратил равновесие, как остановившийся велосипед — великую страну можно было брать голыми руками!

Советские люди упорно и самозабвенно возводили Вавилонскую башню во славу прогрессивного человечества. И, как в ветхозаветном сценарии, вселенскую идею уничтожили простейшим способом — провозгласив плюрализм, смешав языки и перессорив братские народы. И всё же, как заявлял Н. Устрялов, «жизненные испытания не подрывают веры в мировое призвание Родины, но изменяют взгляд на формы его конкретного воплощения».

Взгляды на прошлое сфокусированы целью его познания. Теоретический пессимизм вырождается в практический скептицизм, резко ограничивающий перспективу, хотя и не отменяющий ее вовсе. Глядеть себе под ноги — оно и для собственной безопасности неплохо, да и со стороны смотрится как подобие умственной сосредоточенности. По мнению А. Герцена, «история импровизируется» — т. е. в ней нет плана, но сие не означает, будто и Промысла нет. Если истории угодно давать людям уроки, не является ли это свидетельством ее глубинного оптимизма? — имеются, стало быть, «планы на после» и осталась вера в человечество! Конечно, бытие определяет сознание, но кто сказал «предопределяет»? — всего-навсего корректирует. Истинному историзму претит угрюмое настроение. История возвышает, даже проклиная!

Ей, гряди скоро! (Откр., 22:20) Быстрее скорости света только тьма. Перед просвещением и впереди его — одно невежество. В свое время П. Перцов удивительно верно подметил «народное предчувствие связи России с пришествием антихриста. На Западе был хорошо знаком (и мало известен у нас) страх сатаны». Не сомневаемся: тот, кто «ликом скотоподобен, нравом свиреп, привычками лют» первым делом наведается в Москву. А еще уверены, что избавление мира от грядущего антихриста (как и от многих былых врагов человечества) по силам исключительно нашему народу. Для России имеет значение только один вызов — повестка в Страшный Суд.

СОБОРНАЯ ЛИЧНОСТЬ

В духовном мире созидание каждой личности созидает всех,
и жизнью всех дышит каждая.

И. Киреевский

Дремлем мы, очерченные в круге,
Но над кругом, раскрывая высь,
Предки нам протягивают руки,
Чтобы мы очнулись и спаслись.

Л. Дербенев

На наш взгляд, историзм в чем-то напоминает мужичью крепость задним умом: сначала сделать, а уж опосля подумать. Стало быть, и критерии его должны соотноситься с задержкой в осмыслении сделанного: чем та меньше, тем слабее факт «преломляется в исторической перспективе». Наоборот, увеличение дистанции (осознание «с высоты веков») превращает событие в красивую легенду или смутную, но поучительную притчу, когда характерные детали становятся незначительными: лучшее вливается в общечеловеческое, становится присущим каждому, потому что живет во всех. Эстетизация истории — это как цветы на могилах предков. Былинность русского прошлого во многом характеризуется феноменом соборной Личности. Легендарные эпизоды (поступки) подчеркивают типичное в народе: его мечты и чаяния, его представление о способе преодоления обывательщины. А вот финал сказаний скорее типовой: или трагическая случайность или предательство как ее неизбежность.

Там, где по разным причинам принято не выделяться, мыслят собирательными образами, в этом суть конкретики типичного. Типичный герой в русской литературе не значит «типовой». Русский феномен «непростого простого человека» (дореволюционных «маленьких и лишних людей», героев «производственного жанра» в СССР) — в причастности соборной Личности, благодаря чему образ становится квинтэссенцией общественного, но не массового. Вспомним типовой вердикт худсоветов: «это нетипично». А еще — замечательные советские фильмы (например, соловьевские «Сто дней после детства» и «Спасателя»), которые ни-

как не назовешь лакировкой действительности. Их красота и смысл в гармонии реального (настоящего) и действительного (повседневного). В синтезе — призывы искать и находить человеческое и Человека в каждом, не классифицируя на знатных и неизвестных. Как у Е. Евтушенко:

Мы несем наши сумки, пакеты,
Но подумайте: это ведь мы
В небеса запускаем ракеты,
Потрясая сердца и умы.

Вот откуда «наш непростой советский человек»! Вовсе не пропагандистский штамп и не идеологический апгрейд, а искреннее стремление видеть в людях их подлинную, светлую и разумную природу. Сказанное в полной мере относится и к народу в целом; в нем, по утверждению М. Салтыкова-Щедрин, «надо различать два понятия: народ исторический и народ, представляющий собой известную идею; второму я всегда сочувствовал». Великий писатель как всегда прав — вопрос о народе есть в первую очередь вопрос о должном и сущем. Сравним с чаадаевским изречением: «Настоящая история народа начнется лишь с того дня, когда он проникнется идеей».

Важно подчеркнуть: народ есть высшая, над-историческая реальность, посетителю едва ли доступно объективно ее охарактеризовать. Будучи современником, он растворен в народе, а если брать временную дистанцию — «для истории нет возможности иметь дело с народными массами» (слова С. Соловьева). Это сродни пресбиопии, возрастной дальновзоркости, когда зрение подводит в обоих случаях: вблизи — слабо различимая конкретика, вдали — абстрактная совокупность. Индивидуализирует всегда неправильность, асимметричность, «шершавость характера». С точки зрения эстетики, эта асимметрия, характерность обостряет в историках портретное чувство, желание за непохожим угадать, почувствовать, отыскать гармонию — то, что эта непохожесть декорирует. Массовый (типовой) персонаж обыкновенно малопривлекателен (скажем, активисты — паразиты идеологии и метаболиты истории, всегда несимпатичные и везде одинаковые). Наоборот, типичный образ облагороженно обобщен: «сочетание в одном рассеянных черт русских», как писал Б. Зайцев о прп. Сергии Радонежском.

Здесь всё дело в соборности, сплетающейся из множества общественных и (главное) культурных связей. Прелесть и неповторимость человека в цельности образа, сформированного множеством культурных компонентов. А значимость — в неслиянности и нераздельности каждого индивида и соборной Личности. Он ей не равен, но способен впитать ее опыт; а она не проявится без конкретного человека, зачахнет без воплощения. Благодаря соборной Личности мы и творим историю и сотворены ею. Социальные взаимодействия образуют сложнейший

орнамент. Если это нация, орнамент уникален, имеет свой ритм и собственную частоту повторений ключевых элементов — значит, и собственную структуру. На наш взгляд, ключевым моментом, упорядочивающим хаос переплетений и тем самым определяющим красоту орнамента, является интеллигенция — деятели и носители культуры. Чем больше людей связаны с ними (читатели, почитатели, приверженцы, верующие), тем сплоченнее и своеобразнее народ.

История преподносит уроки желающим ее постичь. Она подобна картине, висящей на стене музея в ожидании человека, способного вдохновиться ей. И потому так важно сызмальства поддерживать в людях дар воодушевляться и восхищаться, быть сопричастным духу Творца и сочувствовать отображенному в творении. Думаем, в этом таланте сопереживания и заключено «зерно патриотизма», когда человек ощущает духовное родство с живущими и ушедшими соотечественниками, воспринимая себя частицей народа, а его историю и культуру — основой своей жизни: вот «с чего начинается Родина».

Исстари тягчайшим преступлением считалось предательство, измена вследствие чуждости устоям и «растяжимости взглядов» на идеалы. Естественно, первые подозреваемые — мигранты, ренегаты и лицемеры, желающие иметь с неродной нацией навар и гешефт. Этим, в частности, обусловлены веские аргументы в знаменитой полемике по делу Дрейфуса, ведь корень упомянутого конфликта не в пошлом бытовом антисемитизме, а в том, что делает гражданина патриотом.

Народ как нравственная субстанция одновременно объединяет своих и дистанцируется от чуждых, не теряя интереса к чужому. По мнению В. Бибикина, «война сплавляет человека в простую цельность». Наверно, поэтому милитаристский шовинизм и воинствующий ислам суть простейшие способы реализации скрепных сценариев. Вот характеристика подобной политики от графа Д. Толстого, реформатора при Александре Освободителе и реакционера при Александре Миротворце: «правительства, которые не соответствуют устремлениям своих народов, кричат: «будем воевать!», желая войны лишь для того, чтобы народ забыл о своих дурных правителях, и они ценой войны могли бы спастись от его гнева». Мирная жизнь требует создания более сложной цельности, единства в многообразии; задача сия невыразимо труднее, и главные противники здесь — «люди войны», которые неизбежно будут уничтожены войной (причем необязательно на войне). У Г. Федотова об этом прекрасно сказано: «напившись свежей крови, они не желают питаться «падалью» добродетельного строительства». Так погибли репрессированные полководцы-герои Гражданской войны, но не только — похожее происходило и с «заматерелыми в цивилизации народами» (фраза С. Венгерова): с якобинцами и «бешеными» во Франции, с «чашниками» и таборитами в Чехии, с ближайшими соратниками первого императора династии Мин в Ки-

тае. Несомненно, на фоне врагов лик народа резче и явственнее, но здесь кроется опасность слепить нацию по примитивной технологии, в основе которой — образ врага как «точка сборки». Таков, к примеру, опыт тоталитарных режимов, ведь тоталитаризм всего-навсего буржуазное извращение идеи соборности.

Итак, народ — субстанция, которую нагляднее и удобнее исследовать в контексте конфронтации и антагонизма: антинародная власть, народ и верхи, народ и реформы. Вряд ли народ против власти как таковой, но он — против безначалия, чаще всего проявляемого беспринципностью власть предержащих. В этом, кстати, и причина окончания многих бунтов после высочайших заверений в показательной расправе над одиозными вельможами. Режим хочет видеть в народе политическую базу и опору, сама же власть немыслима без объединяющего идеала добра и справедливости. Государство в неоплатном долгу перед народом, он же — в неоплаканном горе от необходимости маяться в государственных рамках.

Политики и ученые принадлежат истории, но сама она создается художниками и поэтами. Интеллигенция (как образ и подобие человечества на грешной земле) и есть те, кто претворяет идеологию. Невозможно присочинить населению некую «национальную идею» — она должна быть неотъемлема от самого народного духа. Вспомним опыт XIX века: «народовере» во многом выродилось в земские практики из-за того, что предполагало в известном смысле механическую смычку интеллигенции с массами. Но если притяжение противоположностей еще возможно, то смешение — едва ли. Народ как высшая реальность нуждается не в корректировке, и ему потребен «не бог, не царь и не герой», но символ — воплощение соборной Личности. В этом, по нашему мнению, причина неудачи народников: они предпочли миссионерство мессианству, о чем едко высказался Е. Трубецкой: «предметом народнической веры служит жалкий страждущий бог — народ, который не спасает своих почитателей и не освобождает их, потому что сам ждет от них спасения». От себя добавим: причислять к народу лишь страждущих — очень по-русски. Социальное происхождение непринципиально: в разное время заступниками и печальниками почитали и Лжедмитрия I, и Козьму Минина, и государя Петра Федоровича, и Степана Разина, и опального патриарха Никона. Принцип прост, наивен и оттого особенно убедителен: за народ и с народом тот, у кого душа болит за ближнего. А вот быть с народом, пребывая в благостном настроении от царских щедрот — невозможно.

Русские — нация, ближе и органичнее многих воспринявшая красоту христианской догматики: не умозрительные трансценденции, но и не конкретные обывательские добродетели навроде умеренности и аккуратности. По Пришвину, «мы как народ спасены от гибели не национальным эгоизмом и самомнением, а национальным самоотречением». Осмелимся предположить, что стер-

жень русской идеи — в уповании, сплаве веры в любовь и надежды на мудрость. Само слово «уповать» едва ли можно адекватно перевести на иностранные языки, в нем — простодушная доверчивость, наивность, жажда духовного прозрения и сверхъестественного разрешения проблем. Это сродни беззаветной родительской вере в способности и предназначение своих чад. И уверенности детей в том, что родные, Бог и Русь-матушка их не оставят. Разумеется, веру невозможно ни просчитать, ни подтвердить, ни опровергнуть. Но в ней те скрытые источники, что позволяли России возрождаться преобразенной.

Генезис нашего народа в данном аспекте весьма специфичен. Исстари сами обстоятельства были против русских и тем способствовали их сплочению, формированию национального самосознания. Переменными компонентами были супостаты, а константой — вроде и своя, но оттого не менее агрессивно-ненасытная бюрократия. Власть считалась народной, вдохновляя на борьбу: неважно, против внутренних или внешних врагов. С этой точки зрения царизм времён 1812 г. народен (отсюда и «уваровская триада», теория официальной народности). В России не было оформленных социальных классов — и не от размытости института собственности, а от общей веры, превалировавшей над частными и групповыми интересами. Потому-то «дубина народной войны» отстояла Святую Русь (а не самодержавие) и в Смутное время, и в годину наполеоновского нашествия.

Другое дело, когда противник — не какая-то страна или страта. Опыт СССР доказывает: народ противостоял не только интервентам и «контре», но преодолевал разруху, неграмотность и техническую отсталость в борьбе за светлое будущее. Превосходство советской модели развития было оправдано тем, что именно наши люди управляли временем, торопя и опережая его. Буржуазный мир способен лишь следовать трендам, отвечать на вызовы. Партия и правительство СССР возглавили борьбу народов против фашизма, империализма и колониализма. А борьбу за мир вела мировая система социализма, фундаментом которой был русский мир (конечно же, не в квасно-имперском его изводе).

Массы чувствуют себя народом, воодушевляемые протестом и сопротивлением (общая беда, общая проблема). Когда же все «за» — это в большей степени «миръ» в истинно славянофильском понимании. А. Хомяков считал, что «силы духовные принадлежат народу и церкви. Правительству же предоставлено пробуждать или убивать их деятельность каким-нибудь насилием, более или менее суровым». Как видим, краеугольным камнем является не *Gegenkampf*, а вопрос достижения идеала, т. е. идеология. Единодушие вовсе не усредненность, тем паче не единообразие. Каждый сам за себя — тактика выживания, но не стратегия победы. Любая множественность побеждается единством, единение же — дело сложения, а концентрации (это прекрасно понимал Ленин, создавая партию

большевиков, сплоченную верой и дисциплиной). Русские люди, ощущая культурно-нравственное единство, в мире эмпирической, пошлой действительности консолидируются не столько за, сколько против того, что посягает на идеалы соборной Личности. П. Милюков исчерпывающе описал то, что ныне модно именовать «негативным народом»: «чувства негодования против оскорбителей святыни есть лучшая гарантия и доказательство нашей общественной солидарности». «То, что народ считает святым, есть его скрытое «я», затаенная сущность духа», — заявлял М. Меньшиков. До революции такое называли народностью или национальностью, практически отождествляя историческое с народным.

История на свой лад гомогенизирует людей, уничтожая противоречия — а следовательно, и свои сюжеты. Приведем мнение К. Леонтьева: «теперь прошлое знают лучше и в разум будущего верят меньше. Тогда было страшнее, теперь скучнее — беспрестанные перемены на фоне глубочайшего однообразия». Таким образом, ход событий сам не определит маршрут и не разрешит коллизий — так же как народам не дано себя перерастить. Мы убеждены: история в душе ее рассказчика (летописца, ученого, поэта). И прославлены в веках будут те герои повествования, чьи мысли и поступки резонируют с жизнью соборной Личности — т. е. с духом народа. Попытаемся соотнести личный вклад в культуру с ролью в ней Личности соборной, ответив на сакраментальный вопрос из Некрасовской «Железной дороги»: что же, всё это народ сотворил?

Звучит диковато, однако роль личности нагляднее всего иллюстрируется предателями, ведь именно они обнуляют счетчик истории. А вот борьба с нравственным хаосом — дело людей с инстинктом истины и чувством гармонии. Мужество героев и подвижников крепнет верой в то, что они жили не зря. Герой должен оцениваться по условиям времени и целям — как говорил П. Якубович, «для каждого времени является свой «муж потребен». Герой тот, кто принял условия битвы и выиграл победу». Случается и так, что гордость нации (герои) — не всегда ее совесть (подвижники). Взять на себя ответственность означает переступить черту самосохранения. Героизм — активная форма мученичества, подвижничество более сложно и трагично, чем подвиг самопожертвования, ибо подвижничество есть подвиг самоотверженного служения. Герои неотрывны от контекста, тогда как подвижники — вне времени. Корень героизма в дерзости, а подвижничества — в смирении. В герое впечатляет масштаб личности, в подвижнике — ее глубина. Тот же масштаб личности предоставляет моральное право на эксцессы как индульгенции на свершения. Так, протопоп Аввакум, благословляя массовые саможжения старообрядцев, весьма самобытно претворял этический императив Канта, распространяя свое многострадальное «я» на массы единоверцев. То же заметно и в радикальных реформах, проводимых беспощадными (в первую

очередь к себе) преобразователями. Их невозможно назвать ни эгоистами, не тем более альтруистами. В Петре Великом, например, вспоминают чаще не импульсивную жестокость, а одержимость самопожертвованием, готовность раствориться в деле, которому он служил.

В героизме проявляется цельность натуры деятельной, во внутренней эмиграции — натуры созерцательной, а в подвижничестве — тот самый благодатный срединный путь, объединяющий самоотверженность героя и самоустраненность внутреннего эмигранта. Личности героя и подвижника — моральное оправдание бытия народа, их породившего — как в житии св. блгв. кн. Михаила Тверского: «И ныне за толико народа положим души своя, да вменится нам слово Гоподне во спасение».

Можно сказать, истинно великий человек, будь он подвижником или художником — обитатель вечности, его трудно назвать продуктом времени. Оттого-то во все века были на Руси и Коловраты, и Разины, и Радищевы, и Космодемьянские. Как в стихах А. Вознесенского:

Уходят имена и числа.
Меняет гений свой покров.
Он — дух народа. В этом смысле
Был Лениным — Андрей Рублев.
Как по архангелам келейным,
порхал огонь неукрощён,
И, может, на секунду Лениным
Был Лермонтов и Пугачев.

Пытаясь приватизировать биографии, люди отрекаются от соборной Личности, втискивая жизнь в тесное пространство анкетных данных. Слава Богу, соборная Личность от человека никогда не отречется. В проклятые годы перестройки ее адепты по указке заокеанских хозяев истово насаждали в народе самый вульгарный индивидуализм, а эгоизм и безликающая массовость — две стороны одной медали: атомизируясь, общество разлагается на элементарные частицы без веса и смысла, зато с огромным зарядом амбиций, что и отталкивает от прочих одноименно-заряженных эгоистов.

Общественное потому выше личного, что оно — личностное. «Дело» есть миссия соборного духа, в котором личность творит, включенная в цепь поколений. Человек единственный именно оттого, что не одинок. Вся масса пристрастий, воспоминаний и приверженностей — в его «соборном теле» — уникальна и удерживает от провала в вакуум небытия: так работает своеобразный «закон духовного притяжения», общности со своим Отечеством. Словами Д. Балашова: «человек — это всегда «мы» и никогда «я». Есть существенная разница в форму-

лировках: «я как все» — стадное чувство, неразличимость в толпе. «Я такой, как все» — волевой компонент, скромность сознающей свою ценность индивидуальности. Быть таким, как все — нравственный выбор и особый путь подвижничества.

Может быть, человечество и есть сознающая себя мысль. Распространяясь, она способствует установлению равенства в самом идеальном смысле этого слова. Именно лучшее в людях допускает возможность гуманизма. Мы согласны с версией Ю. Самарина: «история движется вперед свободным совпадением народностей с высшими требованиями человечества. Чем свободнее, глубже и шире это совпадение, тем выше стоит народ». Отличия заключены не в бытовых моментах, а в идеалах, исповедуемых нацией. Своеобразие стремления к идеалу и его реализации и есть главный критерий, определяющий исторические судьбы народов.

О ПРОСТОТЕ БЕЗ ПЕСТРОТЫ

Закон естественного возрастания в одномысленном пребывании.

И. Киреевский

А песни довольно одной,
Чтоб только о доме в ней пелось.

Н. Добронравов

Когда речь заходит об истине, любые упреки касаются методологии и аргументации выглядят мелочно. Светская премудрость называлась на Руси «внешней философией» в противовес богословию, философии «внутренней», духовной. Занятна выдержка из нравственной прописи XVII в.: «а ще кто ти речет: веси ли всю философию, и ты ему рци: еллинских борзостей не текох, риторских астрономов не читах, ни с мудрыми философами не бывах, философию ниже очима видех; учюся книгам благодатнаго закона, аще бы мощно моя грешная душа очистити от грех». То, что С. Аверинцев именовал «пресветлым мраком православной мистики», предполагает приоритет нравственных понятий над умозрительными: не деликт, а грех; не религия, а вера; не социум, а мир.

Гегелевское «всё действительное разумно, всё разумное действительно» более применимо к обыденности, в то время как реальное превосходит действительное и по существу иррационально. Н. Бердяев пишет: «русский — апокалиптик или нигилист; апокалиптик на положительном полюсе и нигилист — на отрицательном. Русская душа более чутка к мистическим веяниям, она встречается с духами, которые закрыты для бронированной западной души. Не случайно предчувствие антихриста — русское предчувствие по преимуществу». Точно и остроумно о нашем народе — у Вяч. Иванова: «он здраво мыслит о земле, в мистической купаясь мгле».

Национальный идеал простоты есть понятие цельности: припомним своеобразно-фрактальный характер древнерусской цивилизации, когда малые города в княжествах были как бы повторением градов стольных. Сложность как процесс сложения, простота в единстве, которое не распадается. С нашей точ-

ки зрения, особенность русской простоты — в стремлении концентрировать выразительные средства. Такое проявляется и в государственном строительстве, и в искусстве. Л. Толстой заявлял: «настоящее искусство, не теряя ничего в своей тонкости, вместе с тем может быть каким-то образом доступным и детям, и неграмотным простолюдинам». Запад видит в этом технологию (массовая культура), а Россия — идеал, прозревание абсолютного в относительном, ведь картина всегда важнее того, с чего ее пишут.

Гениальность простоты — в не-дидактичности, не-нарочитости и не-очевидности, именно поэтому «Песня простого советского человека» в сценарии «Бриллиантовой руки» превратилась в бесподобно-аллегоричную «Песню про зайцев»: «дело есть у нас в самый жуткий час... храбрым станет тот, кто три раза в год...». Идеал простоты воспринимался сердцем — как народная мудрость, будто сама собой родившаяся. На самом деле эта органическая «естественность» есть сверх-естественность, превосходящая логику, и для ее восприятия необходимо исповедовать наши ценности и нашу веру. Примечательно: даже официозные конструкции в России притягивают мощный ассоциативный ряд. Не штампы, а своего рода афористические маркеры событий, каждый из которых осмысливается целостно, широко и многогранно. Не юридическая точность, но образная безошибочность (яркий пример — аллюзия на КГБ в песне А. Вишни: гос-ком-безоп-цап-царап).

Понимание утилитарно, сферам же более тонким и высоким потребна вера, она не для формул и алгоритмов: не вперед и вверх, а ввысь и вдаль. Не направление, но устремление. Идеал призван указывать на конечные цели деятельности, а конкретика, сколь ни странно, бесконечна в своей приблизительности. С. Аскольдов утверждал, что «этике всегда приходится сталкиваться с неразрешимым теоретическим вопросом: какая из возможных конечных целей должна быть поставлена как абсолютная». Идеал далек, идеальность абстрактна и относительна, ибо преломляется в сознании каждого человека, к идеалу стремящегося. Нет нужды доказывать, что признак предмета еще не сам предмет — то же касается соотношения идеального с идеалом, который не в техно-изошренности, а в детской непосредственности восприятия.

Истина открывается не вооруженному, но обезоруженному глазу. В основе любого типа человеческого мышления — аналогия, сравнение. Серьезный соблазн для русского ума — принять упрощение за опрощение, примитивность за простоту. Так случилось в годы перестройки, когда многие были очарованы простецкой бесцеремонностью американцев, принимая ее за обезоруживающую демократичность в общении. Подлинная же душевная простота — от веры в чудо. Вера всегда о несравненном, тогда как теология и философия предлагают сравни-

тельные характеристики несравненного. Богословие — юриспруденция религии, а ведь Бог изъяснялся притчами. Устная традиция — не какая-то там оцифровка; в живом изложении информация искажается, только вот изменения замечательно гармонируют с содержанием, со смыслом: именно так правда становится легендой, очищаясь от факто-логической шелухи. Чувство реальности есть не что иное, как способность отличить подлинное от фальшивки, истинное от дешевки, настоящее от иллюзии, тем паче от галлюцинации. Реальное — это суперация сущего с позиции должного, своего рода синтез того и другого. А синтез не рагу эклектики и не постмодернистская бурда — он есть качественно новое претворение пропущенных через душу идей.

Мы разделяем объективную действительность (как совокупность событий и сведений) и реальность как действительность осознанную не только в фактах, но в их отношениях, и в нашем отношении к ним. Если действительностью назвать текущую рутину, то реальность — нечто истинное, а потому непреходящее. Всё дело в том, что она (в отличие от действительности), существует не только объективно, отдельно, обособленно от нас. Реальность неотделима от человеческого восприятия, хотя и мало зависима от него. Такова и страна — как сущее, но не существующее; как должное, но не наличное; как реальное, но не действительное. Отсюда и ностальгия по «Отчизне, которую мы потеряли», и мечта о Святой Руси, и легенда о граде Китеже.

Обостренное чувство собственного несовершенства и недостижимости идеала — своеобразный двигатель отечественной истории, она неровная и драматичная, часто зацикленная долгим безвременьем. Политики и экономисты склонны дипломатично сглаживать контрасты и смягчать акценты. Художники, поэты, моралисты — наоборот, усугубляют акценты и обостряют контрасты. Становится понятно, почему в России не в чести политика и экономиста. И такое отношение отнюдь не показатель русской «непросвещенности». По И. Киреевскому, «милосердие несправедливого — не милосердие»: неприятие ханжества и двуличия — то, чем и земля держится, и прогресс живет.

Русскую интеллигенцию отличали нетерпимость к пошлости и нравственный максимализм — вернейший залог правового минимализма: что просто, только то — право. Закон реализуется при наличии логических предпосылок, объективных условий — в итоге «будучи призваны к свободе, люди вольно ищут строя жизни, строя морали, в котором царит необходимость» (парадокс В. Зеньковского). Если же суперируется логика, нормативы и формулы вовсе не нужны. Приведем изречение Ю. Самарина: «не было у нас законности, но этого мало: ее не может быть». Однако сие не беззаконие, а более высокая стадия развития, свободная от казуистики и тем благословленная на творчество: не нарушать норму,

но возвыситься над ней, отказаться от юридически закрепленных прав. Отсутствие кодификации не вредит системности мыслей, они вполне могут увязываться в любых координатах — лишь бы вне иерархии, а потому вне формализма. К. Леонтьев утверждал: «русский смысл» не в массе знаний, а в способе освещения этих знаний».

Зерно трагедии человека — диссонанс дарованных ему бесконечных возможностей и его ограниченных способностей. Об этом красиво сказано А. Богдановым: «Вопрос о высшей цели бытия это страшный вопль бессилия этического сознания перед безнадежной прозаичностью развертывающейся жизненной борьбы». Возвышенность идеала предполагает удаленность от конкретного воплощения, что ни в коей мере не означает удаленности из списка нравственных приоритетов. У русских чрезвычайно силен интерес к принципиальным основам жизни. Как следствие — перманентная неуспокоенность в вечных поисках халявы, правды и виноватого. Отсюда же и презрение к благодушным и двоедушным, и недоверие к власти предержавшим (при удивительной доверчивости к власти вообще).

Величайшее искушение человечества — превращение мечты в лайфхак ее достижения («съешьте это — и будете, как боги, знать добро и зло»). Всякий раз такое опошление закликает историю. Когда-то искали эликсир бессмертия, сейчас расшифровывают генетический код человека, вознамерясь взломать его «загрузочный» сектор с целью манипулирования. Важно различать воплощение и оплощение (плоскость) идеала, коего инволюция ускоряется эволюционистами посредством механизаций, цифровизаций и прочих оптимизаций. Содержимое, контент — та часть содержания, которая прирастает к форме и загнивает вместе с ней, когда содержание ее покинет. Слова, буде произносимы автоматически, теряют смысл. «Не ведают, что творят» — это когда что-то свершается рефлексивно, машинально, бездумно.

Мудрено и трудно жить просто! — говаривал гончаровский Штольц. Будь он чуть менее немцем и позитивистом, сказал бы несколько иначе: жить просто — сложно, а не мудрено. Но в том, что так жить трудно — безусловно прав! Поражает гениальная простота строк Р. Рождественского, вместивших в себя русскую версию нравственных формул Канта и Фихте:

А, в общем, надо просто помнить долг

От первого мгновенья до последнего.

Таким образом, простоту можно истолковать и как принципиальность, следование заповедям — стремление сподобиться, пройти путь «в ногу» со Всевышним, резонировать с Его волей (а не поступать лишь по слову, пытаясь ему уподобиться). Человек призван творить по Высшей воле и претворять Высшую волю, он познает мир и себя бесконечно — но зачем, если полностью ничего по-

знать нельзя? Нам представляется, хотя бы для того чтобы замереть в восторге, удивляясь неисчерпаемой глубине творчества и бесконечности совершенства. Об этом — патетика А. Хомякова:

И вот за то, что ты смиренна,
Что в чувстве детской простоты,
В молчанье сердца сокровенна,
Глагол Творца прияла ты!

... и лирика Д. Веневитинова:

Его богиня — простота,
И тихий гений размышленья
Ему поставил от рожденья
Печать молчанья на уста.

Сравним: В. Виндельбанд выделяет правду-ощущение, правду-красоту, правду-справедливость и правду-истину, а русское мирозерцание (по нашему разумению) все три прочие почитает ипостасями правды-красоты. Русские — ортодоксы, но не догматики, поскольку превыше всего ценят в благородстве простоты концентрат смысла — нечто окончательное, безупречно точное, которое (и которому) не изменить. Христианский догмат прекрасен как высшая сложность простого, как шедевр искусства, где ничего искусственного, ибо нечего ни убавить, ни прибавить.

Природа парадокса в том, что в природе он невозможен. Абсурду, в отличие от него, не под силу быть бесхитростным и трогательным: абсурд есть передозировка логики, он бесстрастен и вызывает столь же холодную усмешку — «ну да, забавно». Таковы все умствования и софизмы: в них есть структура, но нет жизни. Парадокс превосходит логику ее же манером, а потому в нем всегда присутствует творчество и нечто берущее нас за сердце. Наверно, самое красноречивое свидетельство — у Вл. Соловьева: «Русская интеллигенция мыслит странным силлогизмом: человек произошел от обезьяны, следовательно, мы должны любить друг друга».

Душевность есть главное качество идеала простоты. Таковы поэзия М. Исаковского, проза С. Злобина, драматургия Н. Погодина, музыка Б. Мокроусова, живопись В. Попкова. Синтез цельности, содержательности и непосредственности воздействия — сверхзадача русского ума, которому любо и дорого все неразрешимое и неразрешенное.

ИСПОВЕДАНИЕ ФИЛОСОФИИ

Где остановилась философия вследствие ограниченности человеческих сил,
там начинается проповедь.
Л. Шестов

Говорил мне отец: «Ты найди себе слово,
Чтоб оно, словно песня, повело за собой.
Ты ищи его с верой, надеждой, любовью,
И тогда оно станет твоею судьбой»
М. Анчаров

Системность — достоинство теории. Практика обыкновенно хаотична и ситуативна. С высоты прожитых лет допустимо сказать: в молодости не зазорно следовать какой-то доктрине, проверяя, сознательно осваивая ее на практике — так мировоззрение становится убеждением. Зрелое суммирование эмпирики, возможно, выше философии, поскольку выстрадано собственной жизнью. Идеологией, в юности внешне воспринимаемой (дело чести), всё начинается. Идеологией, ставшей внутренним убеждением (дело совести) и оттого убеждающей — завершается. По нашему мнению, значение практики в большей степени — негативного свойства: жизненный опыт защищает от догматизации и резонерства, т. н. «религии науки». Теория в идеологическом синтезе играет положительную роль; ретроспективное обобщение — лучшее средство расшифровать приметы и проложить дальнейший путь.

Философия — это усилия лучших умов сшить лоскуты бытия белыми нитками своего сознания. Внешний хаос упорядочивается внутренним миром. Своеобразное отношение к философии — также в полном соответствии с национальным талантом осваивать, не присваивая. Можно сказать, русским свойственно не столько сравнивать вечные вопросы в постановках разных мыслителей, сколько изучать возможные ответы, примеряя философские аксессуары к сермяжным ризам правды. «Самая бесполезная вещь на свете — быть правым», в этом тютчевском афоризме не просто ирония непонятого человека, но еще и предупреждение: грех

пользовать правду, низводя ее до кривды. Идея выхолащивается, переходя из воображения в соображение. И коченеет, переходя из сердца в цитатники.

Любая мысль, буде ценна и будучи извлечена из контекста, формирует собственный контекст: пресуществляясь в искусстве, рождает шедевры; оплодотворяя политику — становится тенденциозной, делает культуру пародийной. Бывают периоды, когда культура и политика попеременно играют роли должного и сущего, но чаще соотносятся как реальность и действительность. В обеих есть ретро и прогрессивный компоненты, которые могут соприкасаться, быть параллельными или противоречить друг другу. Вряд ли можно утверждать, что ход вещей определяет культуру, и наоборот. Необходимо не опускать культуру до уровня масс, но возвышать человека до уровня культуры (без культа невозможной). Существенное и насущное претворяются в сознании, образуя тот континуум, коего современником человек себя признает.

Эра гениев никогда не наступит: они принадлежат Вечности, их крест — одиночество и обреченность до поры пребывать в брэнном мире, будучи не от мира сего. Они носители и проводники непреходящих идеалов, оттого и живут, не ожесточаясь злобой дня. Русский народ издавна предпочитал быть современником своих подвижников, однако удел святых пребывать вне времени. Может быть, в этом религиозно-историческом выборе кроется причина «культурно-технологического отставания России», которое так любят муссировать зарубежные доброжелатели? Или снова виновны большевики, «порвавшие связь времен»? — как оно привиделось постсоветским «историкам», возвращенным в перестроечных парниках на импортных удобрениях и перегное антисталинизма. Нам представляется, подобные заявления об отставании — все та же популистская дань моде на поверхностные сравнения. Но решимся взять за основу не отвлеченные, а мировоззренческие, не спекулятивные, а идеологические координаты. При таком подходе советские люди (современники вечно живого Ильича) столь же верующие, как и их предки, современники прп. Серафима Саровского.

В России склонны эстетизировать абстрактно-философические построения, отвечающие запросам идеологическим, а точнее — эстетическим вкусам идеологов. И это не утилизация философии, а ее суперация, облагораживание светом нравственного идеала. Если верите Ленину, уверуете и в большевизм. Религия и вера на Руси не тождественны: религию можно изучать, веру надлежит исповедовать, неспроста в русском языке прижилась идиома «православное вероисповедание». И хотя существуют «религия» и «конфессия», к православию они мало подходят — наверно, в силу своей терминологичности (а, стало быть, ограниченности). С другой стороны, плохо ложится на ум и слух «мусульманское вероисповедание» или, скажем, буддийское. Религиозные образы — в сердце каждого,

исповедание же всегда общее и призвано претворять (а не просто цементировать) людей в народ. В этом аспекте вера православная и вера коммунистическая более чем схожи. Всегда были ёрники, готовые позубоскалить о церковности заповедей Морального кодекса строителя коммунизма. Однако наличие пересмешников только подтверждает и сам факт существования, и общность веры.

Идеология, которой мы жили, имеет «постоянный остов платонизма: видит не то, что видит, и имеет в виду не то, что имеет в виду — но только памятью и живет», утверждал В. Биbihин. Вера в символизм предметов, освященных почившей на них историей («энергиями», в варианте св. Г. Паламы) — еще одна особенность русского менталитета. Д. Мережковский считал «психологическую религиозность» русской национальной чертой. Пиетет к реликвиям воспитывался и в СССР: пионерская заповедь «как повяжешь галстук — береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного». И высмеивался в иудину годину перестройки КВН-фиглярами: «а как купишь сникерс, ты не ешь его, он с самим Манделюу цвета одного».

Русские — народ с легендарной историей, легенда — самый верный способ красиво превзойти временную предопределенность. Но одно дело издалека восхищаться легендой, и совсем другое в ней существовать и ее сотворять. Последнее всегда было и трудно и опасно. Жить не зря — на Руси значило остаться в доброй памяти. Разумеется, быть легендарным и стать успешным — вещи разные и едва ли совместимые. Легендарность это отнюдь не известность (пастернаковское «быть знаменитым некрасиво»), с учетом национального кенотизма — скорее уж безвестность. Между прочим, даже авторство потрясающей эпитафии на Могиле Неизвестного Солдата («имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен») до сих пор спорно.

Русским героям тесны гламурные одежды культовых персон и героев масс-культы, потому принты с Лениным или Гагариным смотрятся пошловато, а маечки с ликами Сергия Радонежского или Зои Космодемьянской кощунственны и совершенно немыслимы. Напротив, в США подобное совершенно обычно, как растиражированный Че Гевара или Jesus Christ superstar. Для русских мировоззренческие разногласия обнаруживаются более в нравственных, нежели в умозрительных ориентирах. Ино-идеологии воспринимаются враждебными, задевая национальные или религиозные чувства. Буржуазная парадигма по преимуществу отталкивается от существующего порядка вещей и потому имманентно адаптивна, даже критикуя действительность. Отечественная идеология скорее обозначала образ будущего, нежели обслуживала текущие нужды социального быта, тем паче — политического режима (и здесь в чем-то родственны даже коммунизм и теория официальной народности).

Мог ли светловский «парень, презирующий удобства» смириться с мыслью о том, что в мирное время эти удобства ему пришлось бы мастерить? А особенно — с тем, что появятся люди, полагающие смыслом жизни единственно пользование удобствами? Думается, на сей вопрос однозначно (пусть и неодинаково) ответили бы и протопоп Аввакум, и Пестель, и Герцен, и Победоносцев, и Свенцицкий, и Ленин. Непримируемая идеологическая борьба велась в России с бессознательностью, трясинной бытового комфорта, с мещанским призывом «вовремя остановиться». Оттого вечным символом русской культуры останется Иоанн Креститель — самоотверженный подвижник, тот самый «парень, презирующий удобства».

Цельность природы в самости, мужестве жить по тем принципам, какие исповедуешь. Именно этого недоставало многим западным философам, в то время как отечественные мыслители старались животворить проповедь личным примером. «Хороший поступок, хорошее чувство, чистота в поведении — выше всякой философии и всего другого на свете», считает Н. Страхов. С точки зрения Вал. Муравьева, «там, где не было мысли в европейском смысле, было, быть может, больше, чем мысль — цельное ощущение действительности». По нашему убеждению, специфика отечественной истории не в достижениях и успехах (где их нет?), а в стремлении к такой вот редчайшей цельности, благодаря которой Россия, подобно Фениксу, многократно восставала из пепла. Даже марксизм здесь исповедовали (а не просто «практиковали»), для миллионов он стал мировоззрением, а без веры сие невозможно. Вот фрагмент «официальной песни» на стихи Е. Долматовского:

Коммунизм — святая наша вера,
Испытанье стройками и боем.
Только правдой личного примера
Можно людям доказать, чего мы стоим!

Идеологические формулы в России откровенно личностны — отсюда вождизм, но оттуда же и нынешние беспутные провластные переобуванцы, барахтающиеся в эластичных координатах принципиальной беспринципности. Как видим, ключевой аспект — в масштабе личности вождя, поэтому в пределах той же, казалось бы, идеи, мы имеем на одном полюсе бескомпромиссный и бессмертный марксизм-ленинизм, на другом — фарисейство горбачевского «социализма с человеческим лицом».

Стремление упрощать и опрощаться — вечное искушение человечества. В основе его сохранение энергии, оптимизация ресурсопользования, приспособленчество. Люди, глядящие на жизнь проще, неизбежно распускаются и морально опускаются, низводя заложенный в них творческий потенциал до механистического следования обрядам. От формализма недалеко и до обскурантизма (всегда, кстати, воинствующего). Приспособившись и уяснив самый доступный способ

адаптации, обыватель не желает развиваться. Наоборот, он — за исповедание за-
 ныканной им аксиомы «лайфхака». Такие адепты простых внешних правил не
 могут жить мирно, ибо выживание их зависит не от творчества и фантазии, а от
 расширения зоны эксплуатации практикуемых понятий. Следовательно, преслову-
 тая «односторонняя развитость» военных, узколобость ура-патриотов и ислам-
 ский фундаментализм не столь различны меж собой. Наверно, нынешнее обилие
 нарочито обиженных и оскорбленных в своих гражданственных и религиозных
 чувствах обусловлено отсутствием у масс идеологического иммунитета. Пото-
 му и придерживаются негативного метода правового регулирования — запре-
 тов, ограничений и ограждения иммуно-ослабленных от потенциально вредных
 влияний. Своего рода вирус идеологического иммунодефицита человека (ВИИЧ)
 и приступы патриархальной астмы.

С этой точки зрения вполне очевидно отличие экстремизма от нормы, а то-
 талитарной секты — от «традиционной» религии. Не в том ли, что все дьяволь-
 ские уловки уловками в конечном счете и останутся? Более того, они сеют без-
 умие и заикливают историю: словами Вяч. Иванова, ипостаси сатаны «являют
 себя в разделении и взаимоотрицании, глядят в разные стороны и противоречат
 одно другому, а самобытно определиться порознь не могут и принуждены искать
 своей сущности и с ужасом находить ее — каждое в своем противоположном, по-
 вторяя в себе бездну другого, как два наведенных одно на другое пустых зеркала».

Веру вселяет лишь то, что открывает горизонты жизни. Всякие обещания
 сиюминутного удовлетворения шкурного интереса и оперативного исполнения
 чисто-конкретных желаний — от лукавого. Этим муж отличен от соблазнителя,
 а пророк от демагога. Антигуманизм всегда циничен, а потому утилитарен и тех-
 нологичен, ибо упрощает. Здесь и юзабельность, возможность практиковать —
 стало быть, где-то даже и полезность в решении житейских проблем. Экстремизм
 справедливо называют культурным суицидом: по сути, это квинтэссенция ме-
 щанства как способа опростаться от культуры и тем самым опростить жизнь. За-
 метим: опровержение экстремизма одним лишь оспариванием достоверности его
 «идейных» источников — еще не сулит победы. Лидеры тоталитарных сект могут
 оказаться сильными духом (хотя и не духовными) личностями, чей образ жизни
 (но не всегда образ мыслей) привлекает множество людей, уставших от фаль-
 шивости официально распропагандированных ценностей. И если мерить экстре-
 мизм только отличием от прописных истин, легко спутать сектанта и смутьяна
 с революционером, как когда-то выбирали между Вараввой и Христом. Однако
 ценность христианства в том, что оно осложняет жизнь идеалом любви, в то вре-
 мя как завет мести есть применение закона причинности. Экстремизм и сектант-
 ство никогда не усложняют. Наоборот, популистски опускают до удобоваримого

условно-пользительного суррогата. Предотвратить расширительное толкование экстремизма в юридическом контексте способно максимально широкое его осознание в смысле комплексном, идеологическом. Только так обнаружатся признаки, принципиально не регулируемые правом (психика), но не менее опасные, чем те проявления, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

Вокруг нас громоздятся супермаркеты извращений добрых и хороших идей. Зло противно людской природе, ложь предлагает привлекательный (а главное — доступный) эрзац добра, вот чем страшны адские симулякры и эвфемизмы. Есть в стране идеология — значит, можно сосредоточиться на решении текущих проблем и частных вопросов, совершенствуя детали государственного механизма или повышая уровень народного благосостояния. Но когда идеологии нет (соответственно, смысла жизни — тоже), как можно не задумываться о главном и вечном? Застревание на будничных деталях в таких условиях сродни персеверациям и конфабуляциям — патологиям сознания, симптомам грядущего слабоумия. По аналогии с афоризмом Архимеда, в деле изменения мира сотворением истории, первоочередной вопрос — поиск точки опоры, вокруг которой гармонизируются обстоятельства и отношение к ним. И опора сия, по нашему убеждению не в плоскости экономики или политики, а в многомерном пространстве веры. Применительно к социуму, еще вернее — в сфере идеологии.

Образ завершен как начертанный в сердце магический круг, но, как правило, нерезок и неясен в деталях. А потому, разъятый на части для анализа, теряет способность вдохновлять. Общественный строй предполагает именно облик, целостное восприятие жизненного уклада и нравственного опыта. Выхватывая отдельные детали из контекста, мы непременно разрушаем гармонию, но выстраиваем ли новую? Яркий пример: неприкрыто-хамовитая предвзятость в освещении социализма как тоталитарной машины, где людям-винтикам якобы безжалостно «закручивают гайки», причем намеренно против резьбы.

Прошлое ошельмовано и осмеяно, а что пришло на смену — перестроечная чернуха? Либеральная демагогия? Скрепная ложь? Как у А. Вознесенского: «сняли иллюминацию, но не зажгли свечей». Сейчас, к примеру, шоу-политтехнологи и ура-пропагандисты (примечательно: и те и другие преимущественно инородцы) примеряют на россиян ватник апостолов (а получается — остолопов) «русского мира». В косопадающем свете всё отбрасывает тень и имеет темную сторону. Есть наука и ее тень — наукообразие, есть интеллигенция и интеллигентщина. Но в зените, в точке высшего подъема светила, тени исчезают. Так и суперация подобна воспарению над собой, когда темная сторона (как всякая альтернатива) пропадает, человек преображается творчеством — и оттого становится неподражаемым (ибо эпигоны — те же тени таланта). До трагического развала СССР за-

океанские доброхоты любили рассуждать об альтернативах коммунизму, навязывая миру биполярное устройство. По большому счету, и сей «маневр в сфере сознания» (фраза В. Белинского) пропагандистам не удался: нежизнеспособен двуполярный мир, и весомейший аргумент — лубочная Раша — не более чем уродливая тень США, изменчивая и несуразная, как все тени.

Свет разума (по мнению П. Новгородцева) «направляет пути истории, но не устраняет ее творческой глубины, ее бесконечных возможностей, ее иррациональных основ». Самоопределение, самокритика, самосознание суть вещи парадоксальные, они заключают в себе неслиянность и нераздельность противопоставляемых понятий (данный тезис блестяще доказан Э. Ильенковым). Проанализировать феномен самосознания то же, что единицу поделить на ноль. Вообще что-либо принято называть, дабы повторить название (и, соответственно, явление) впоследствии. Естественно, подобное повторение провоцирует и тиражирование самого явления: так таинство деградирует до шарлатанства, до заклинаний и формул. Выходит, если мысль изреченная есть ложь — правильно мыслит лишь тот, кого могут понять неправильно, кто больше подразумевает, нежели излагает. Оттого-то все подлинные афоризмы весьма неоднозначны, но неизменно убедительны, идеологичны. А массы поверхностную гладь словес обыкновенно принимают за глубину смысла.

Заметим: в частности русский человек склонен «соображать», мыслит рационально и вполне научно, тогда как в вопросах глобальных — на редкость нерасчетлив, «сердце верит в чудеса». Талантливые люди не от мира сего, а наш народ не мирится с обыденностью. Вот отчего русские столь быстро впитывают и развивают прогрессивные идеи самых разных культур. По той же причине архаичный (на первый взгляд) социум пребывает в перманентном ожидании отчаянных преобразований и рискованных экспериментов. Вместе с тем, вышеназванное определяет и возможно безоглядно-фанатичное следование «передовым принципам», которые подчас принимают самые неожиданные для рационалиста формы. Занятно, что ни одно из отечественных евро-преобразований не имело вида, хотя бы отдаленно напоминающего «цивильный» прототип. Это говорит, в первую очередь, об изначальном несовершенстве прототипа, которое бесстыдно обнажается в процессе его исповедания. Фокус в том, что преобразователями-практиками в России были преимущественно идеалисты, в то время как прагматики и скептики предпочитали теоретико-критические умствования. В этом сказался национальный приоритет нравственного над моральным, социального над политическим и политического над экономическим. В России идеологию создавали чаще всего деятели культуры, а культурой занимались чиновники. Важно подчеркнуть: ученый, преподаватель (как личности идейные), да и вообще носители культуры не должны становиться

жертвами идеологического ангажмента («в ком огонь пылает, тот вовек не горит в огне»). Просвещение есть соборное дело человечества, следовательно — интернациональное, но не космополитическое.

Как человек, жаждущий пищи духовной, не замечает бытовых неудобств и даже голода, разгрызая гранит науки, так и русские люди: веруя в светлое будущее, не делали культа из еды и житейского преуспевания. Подобное творческое горение свойственно всем, но не каждому дано долго поддерживать себя в столь сосредоточенно-напряженном состоянии. Разумеется, куда проще ставить себе посылно-бытовые цели и лапать ручных синиц, тут и результат очевиднее. В то же время никто не отменял журавля в небе, как и небо вообще. Буржуазии ближе рациональная формула социальной ответственности в духе компенсации. В частности, евро-подход к социализму напоминает историю экс-снабженца, которого (за неимением боевых навыков) партизаны отправили в оккупированную фашистами деревню распространять листовки. Он вернулся в отряд с мешком дойчмарок — выгодно распространил, стало быть. Квази-социализм прагматичен и заточен под материальное насыщение потребкорзины. Оно, возможно, и неплохо, но узко и лишено перспективы. А, кроме того, перед партизанами неудобно...

Россия исповедовала иррационализм ответственности исторической. Деяния многих русских князей и царей, ориентированные на прогресс, были невыносимы для их подданных (по Н. Глазкову: «чем столетие интересней для историка, тем для современника печальней»). И все же цивилизационный путь России (интуитивно, осознанно ли) намечен верно: и при крещении, и в период ордынского ига, и в Смутное время — выбор всегда осуществлялся по вектору усложнения архаики. Самый радикальный перед революцией (петровский) был в сторону Европы, не упрощавшей картину мира, в отличие от халяль-харамного Востока.

Религия по духу своему всегда непримирима, утверждал Г. Чулков. Иными словами, христианская политика как технология компромиссов — недопустима, вот откуда русское неприятие политиканства. Сравним: гражданская война в России 1918–1920 гг. в чем-то похожа на войну Тридцатилетнюю, обе — религиозного характера. Но если в Европе стороны всего лишь обозначили свои позиции и в итоге пришли к выводу об абсурдности единой для всех истины (Вестфальский мир), то у нас победили не красные, а Истина, на стороне которой те воевали и которую отстаивали. Белые воевали с красными, а красные — за справедливость и лучшую жизнь, но в принципе — вовсе не с белыми. Протест не способен иметь в себе ничего конструктивного. Победа большевиков определилась их верой и народной поддержкой, а не грубой силой или хитроумной изощренностью политической программы. Подчеркнем особо: коммунисты именно победили, а не выиграли или переиграли — в моральном плане эти понятия образуют «дистанцию огромного размера».

Мессианизм диктует политике жесткие условия: до самой перестройки отечественная дипломатия базировалась на нравственных началах (Священный союз против Наполеона, помощь в освобождении братьев-славян от турок, пролетарский интернационализм, освобождение Европы от фашизма). Бесспорно, моральная дипломатия куда сложнее циничной и беспринципно-«талейрантной». Наша национальная традиция положительные черты признаёт за народом, отрицательные — за отдельными лицами, коих свой же народ перелицует и исправит. Так на Руси разрешалась дилемма отдельного и общего (соборная Личность, собирательный образ). Безупречность «облико морале» не запятнать поведением оступившихся. В этом проявлялась православная нетерпимость к греху и жалость к грешникам. Личное покаяние каждого исключало покаянность собственно нации: тут неприменимо правило о сумме слагаемых, ведь каждый, ощущая принадлежность к народу, старался не опозорить чести ни своей, ни национальной. Наоборот, горбачевская (а по факту — бжезинская) формула национального покаяния автоматически признавала каждого русского (даже еще не родившегося) соучастником якобы сотворенного исторического зла, коль скоро «империя зла» отождествлялась со всем русским.

Идеология всегда апеллирует к нравственной силе. Власть объединяет людей в народ только анти-идеей, борьбой с чем-то. Борьба за что-то — сфера идеологической суперации. Воля и разум, «теория двух мечей» — это и есть гармонизация идеологических и властных структур, достигшая вершины в СССР, где линия партии благословляла власть и (когда нужно) спрямляла сдвиги и перекосы в реализуемой государством партийной линии. Ныне же во всех недочетах предписано винить не предстоятеля, а представителей власти; не президента, а парламент и правительство, коим уготовано ампула Prügelknaben. В итоге — безвольная неразумность, стихийное тиранство.

Идеология (как исповедуемая философия) несравненно выше любой спекулятивно-паллиативной абстракции. Русские по-своему осмыслили кантовский императив. Фраза Достоевского «главное — люби других, как себя» весьма своеобразно воплощалась в деятельности беспощадных к себе лидеров нации: и в политике (Ленин, Сталин, Петр I), и в науке, и в искусстве (акад. Павлов, Ломоносов, Толстой и тот же Достоевский). Русская жертвенность самозаклания — в перемалывании суровым миром несправедливой действительности, в растворении личности. Но именно пересыщенный раствор чреват мгновенной кристаллизацией: и идей, и людей в их борьбе за справедливость.

Скажем больше: отсутствие гарантий мыслилось единственно возможной гарантией прогресса. Евро-демократия обеспечивается преимущественно правом, в СССР руководствовались идеологическими установками («молодым везде у нас

дорога, старикам везде у нас почет»). Русские предпочитают жить под благодатью, нежели под законом, потому святость им ближе, чем бухгалтерская честность. Но в этом и залог нравственного совершенствования. Идти вперед не по колее означает быть выше заданности, определенности и гарантированности, а потому — свободнее.

По мнению одного из самых трогательных мизантропов в русской истории, П. Чаадаева, «мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок». Стало быть, отечественная история — скорее притча. Но не таково ли предание евангельское? Не дико ли считать детективом земную жизнь Христа и расследовать обстоятельства того, с прямым или косвенным умыслом Бог жертвовал Сыном во спасение людей? История сия настолько подлинная и всеобщая, что никогда не впишется в рамки историографии, хотя отдельные ее моменты и будут там отражены.

Нам представляется, идеологическая сердцевина национального образа мыслей — в необязательности и необеспеченности просветления. Русский человек считает неприличным и кощунственным пытаться Бога претензиями «а что мне за всё это будет?» Дело не в том, обретем ли мы Царствие Небесное путем планового говения, а в том, что и постящиеся и сытые априори не взыскуют каких-либо гарантий. Верующие не торгуются с небесами, «ибо всех заключил Бог в непослушание, дабы всех помиловать» (Рим. 11, 32). Из сказанного следует, что ни обряды, ни пост, ни повторение молитв не приближают человека к Богу, а приближает праведная (значит — творческая) жизнь, само искреннее стремление быть выше своей несовершенной природы. Это максимализм, он наивен и — парадоксален! Где неизбежны греховные эксцессы, допустимо и воспарение к вершинам Духа.

Как остроумно заметил В. Одоевский, «история накладывает камень на камень, не зная, какое возведет здание». Видимо, поэтому в России многократно перелицовывали прошлое: редкое этико-эстетическое чувство, особенный исторический перфекционизм. Такова русская триалектика: власть путается в трех соснах и рубит их так, что летят щепки; философия видит за деревьями лес проблем, а идеология предписывает из этого леса выстроить красивый город, и посреди него — возвести храм.

ПУТЬ АПОФАТИКИ

Опыт адогматического мышления является гармонией афоризмов,
возмутительных и циничных для ума,
которого кашей не корми, а подай ему «систему».

А. Ремизов

Видеть апотеозу смешно,
видеть одну анафему несправедливо.

А. Герцен

История начинается тогда, когда мы превосходим происшедшее, оценивая и тем самым осознавая его, ведь даже рассказывая кому-то историю, человек преобразует ее собственной манерой повествования. Следовательно, объективный историзм невозможен вовсе, а субъективизм историков скрашивается наличием у них мировоззрения, совести и таланта. Еще с летописных времен на Руси поражения описывались детальнее побед — вероятно, как назидание в том, что должно превзойти и что не должно повториться. Выходит, история и время бытуют дотолы, покуда люди не ведают, что творят. По версии М. Погодина, «чем больше будет развиваться человечество, тем деяния его будут яснее и, наконец, История будет само настоящее время, т. е. человек будет вместе и действовать и знать свои действия, или, лучше, уже не будет Истории». Суть ее, следовательно, не столько в ретроспекции или рефлексии, сколько в синкопе, разрыве между метром и ритмом, чувством и осознанием, между мыслью и действием (вот почему, наверно, в старину историка-хрониста называли дееписателем).

Ныне как никогда актуально тютчевское «в Россию можно только верить». Два поколения оболваненных антисоветскими пропагандистами — полностью дезориентированы и выдрессированы в атмосфере забвения родной истории и презрения к русской культуре. Апеллировать к документальным источникам в качестве истин первой инстанции поздно и бесполезно, на фоне избытка информации частное запросто можно выдать за общее. Рациональные аргументы в клиповом нано-сознании молодежи перемешиваются с обрывками мемов, ци-

тат шоу-социологов, фолк-историков, политфриков и прочих популистов и пустосвятов. Вывод и выход один: взять за основу парадигму, основанную на общечеловеческих ценностях — созданную в СССР. И веровать в советское видение хода истории мировой и отечественной. Марксистская база вере не помеха, скорее наоборот. Сознательно исповедуя идеалы коммунизма, можно осознанно развивать науку, и отнюдь не только с позиций детерминизма (им, к слову, в гораздо большей степени грешат буржуазные теории).

В перестройку людей выманили из русского мира посулами гласности и открытости. Но русский мир никогда не был закрытым, поскольку всегда был внутренним. Он цельный — вот чего ему не могли простить! И как обретение сокровищ внутреннего, духовного мира делает внешние связи второстепенными, так и развитие культуры формирует самодостаточность. Важно подчеркнуть: изолированность и самодостаточность — не одно и то же. Православный по самой природе своей, русский (и советский, конечно же) мир не ведал «внешнего», поэтому и закон сохранения в нем действовал особенно: щедро растрачиваемая русскими энергия прилежно присваивалась и сохранялась сметливыми, «туго знающими жизнь» соседями: «планету сердцем мы согрели, грея себя у костра».

Пока западные исследователи преуспевали в вопросах познаваемости мира (на деле — познаваемости посредством умозрительного схемопостроения), отечественные мыслители увлекались опознаваемостью Совершенства в проявлениях человеческого бытия. А это категория провиденциальная. Эстетизация временного — национальная черта и особая форма нашего исторического мышления.

Камень преткновения в дискурсе русской истории — история европейская, которую почему-то берут за эталон просто благодаря ее наличию. Для дифференциальной диагностики такое сгодится, но для осознания миссии и поиска Пути — вряд ли. То, что отечественная культура с удивительной быстротой впитывает зарубежный опыт, доказывает лишь пользовательскую ориентированность последнего, его приспособленческий вектор. Разумеется, технологические изыски это неплохо, но они — всего лишь оптимизация разных аспектов жизни в плоскости ее удобства, тогда как вопросы перспектив (а значит — и смысла) оставляются без должного внимания. Припомним строки Ю. Ряшенцева: бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?

Говоря о перспективах и преемственности, отметим: избыток деятельности одного поколения гармонизировался избытком чувств последующего, которое идеализировало незатейливость практики предшественников, преобразуя ее в пафос созидания. В России амплитуда этого аффективно-эффективного маятника бывала столь велика, что отечественный вариант можно было характеризовать чуть ли не как биполярное расстройство истории. От подобного диагноза

ее спасала удивительная цельность натуры русских людей. Периоды державной стабильности порождали аффектированную внутреннюю эмиграцию, в то время как героические моменты являли на свет суровых «практиков». Самые трогательные легенды пишутся в тиши застоя, самые героические — в глуши безвременья.

Государство всегда пыталось идти в ногу с веком (таков крест суверенитета — ориентироваться на внешние вызовы и симптомы), потому-то фатально запаздывало в преобразованиях. А вот интеллигенции суждено быть либо отчаянно передовой, либо безнадежно старомодной (что, собственно, одно и то же), оттого ее время так или иначе наступает. Нам представляется, что ключ к пониманию русского «исторического чувства» — в этой рассинхронизации, происходящей от идиосинкразии, непереносимости власти: бронзовеющая стагнация стимулировала желание осмыслить свое место в не-своём мире. Наоборот, реформы способствовали накоплению и усвоению знаний, менее всего располагая к рефлексии и сантиментам (скорее — к критике реформаторов).

Однако, наскоро приторочив к русской культуре политическую подоплеку, мы рискуем ничего не понять. Собственно политика здесь мало кого волновала, зато вечно болезненной была проблема социальной этики (этики власти — в первую очередь). Конечно, история России во многом определяется историей ее государственности. Хотя бы потому, что весь цвет отечественной культуры — сплошь обличители правящего режима, в то же время возлагавшие на государство особые надежды; верившие, что правильная власть приведет людей в царство справедливости.

Первенство принадлежит тому, кто бежит скорее, кто, скинув с себя всё ненужное бремя, даже самую одежду, налегке пускается в путь и перегоняет соперников, утверждал Б. Чичерин. Это очень точно — о буржуазно-позитивистской модели прогресса, скинувшего с себя ненужные моральные и культурные принципы и сгинувшего в им же созданном ассортименте технологий счастья. В России философия развивалась преимущественно как искусство, а не наука, ибо жила скорее талантом, нежели методом — «как направление, освобождающее русскую мысль от духовного рабства» (слова И. Аксакова). С данной точки зрения едва ли верно рассуждать об отечественных парадигмально-философских конструктах — разрабатывались преимущественно проблемы историософские (А. Хомяков, П. Лавров, Л. Карсавин), социально-этические (А. Радищев, Н. Бердяев, бр. Аксаковы,) и эстетические (Вл. Соловьев, К. Леонтьев, А. Лосев). Впрочем, вопросы эти никогда не воспринимались частными, отличительная черта русского мирозерцания — универсализм (как у К. Бальмонта: «мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить»). Мы полагаем, что специфика отечественной философии — в масштабе личности мыслителей, выстрадавших свои взгляды. Социальная этика волнует людей с нравственным стержнем, в политику

же ползут существа морально беспозвоночные. Разного рода стеснения в сфере общественной деятельности прекрасно способствуют культурному и духовному росту думающих личностей, не опуская их до масти публичных людей.

У наших рыцарей разума свой «святой Грааль» — поиск ответов на «проклятые вопросы», в итоге понятие социального почти всегда идеологично (при том — вовсе не идеологизировано). Таково (словами В. Библихина) «не разрешенное и не запрещенное состояние философии в России». Здесь старались претворить идеальное в реальное, на Западе идеальное обналичивают в действительное. Отсюда русская неприкаянность, контрастно заметная на фоне уютного евро-быта. Народ-богоносец не найдет себе места, пока всем людям не станет хорошо (чеховское «мы несчастны, но всё человечество будет счастливо»). Неприкаянность — в первую очередь неустроенность, оттого мы все время строим, а другие в построенном нами устраиваются. Естественно, речь не о месте под солнцем (в России его с лихвой), но об успокоенности. Эволюция (даже в био-формате) есть путь измельчания, а русскую душу более всего огорчает измельчание: и масштабов, и нравов. Посему психотехники и раскадровки менеджмента — не для нас. Потуги современных российских (отечественных ли?) социологов сформулировать «заповеди мотивации», «десять привычек, которые бесят шефа», «как понравиться на собеседовании» и проч. выглядят скудоумно, пошло и бессодержательно. В американской версии фабрикация науки из подобных пустяков смотрится в чем-то даже мило и не столь аляповато, но в отечественной традиции подобная мелочность унижает исследователя.

Угол падения национальной культуры равен углу отражения ей буржуазного масс-культура. Так, восточная философия привлекает Запад не глубиной и древностью, а духовными практиками, т. е. снова трюками просветления. Даже индуизм потрафил потребительству, мутировав в косплеи хиппи и кришнаитов. Нам верится, что русская философия избежит столь незавидной участи и никогда не станет усредненно-всемирно-популярной. В этом не местечковость, а необходимость особой культурной подготовки и подвижничества, без которых приближение к сокровищнице отечественной мысли возможно, но приобщение — сомнительно: слишком уж личностный, неклишированный подход, не поддающийся тиражированию.

Как говорится, самое темное место — под лампой: мало какие книжные истины пустили корни в национальный быт, оттого и разрыв между желаемым и действительным в России столь драматичен. «Историк не сделал бы ошибки, если бы стал изучать жизнь русского общества по двум раздельным линиям — быта и мысли, ибо между ними не было почти ничего общего», считал М. Гершензон. Пресловутые «что делать?» и «кто виноват?» решались мыслителями непрактич-

но, претворяясь «в духе». Отсюда и горькое разочарование в деградации идеалов, и своеобразный апокалиптический оптимизм русской мысли. Русь духовная никогда не была озабочена проблемой «догнать и перегнать». А Россия государственная тем временем носилась по кругу реформ, то кичась передовыми позициями, то изумляясь своему отставанию. Ничего удивительного: в круге трудно понять, кто убегает, а кто догоняет, и отличить запаздывающих от успевших. По едкой характеристике Г. Федотова, «русское мессианство есть крайняя форма реакции на западный соблазн, крайняя форма антизападничества, и потому всё то же западничество».

Может быть, известная разница между иностранной и русской культурами заключается и в самом чувстве реальности. В Европе, к примеру, реализм (как направление в искусстве) быстро сменился другими, более тенденциозными, альтернативными -измами (импрессионизм, кубизм, фовизм etc). В России же критический реализм надолго закрепился (а вовсе не был официально провозглашен) в качестве генеральной линии; в СССР особо почитался реализм социалистический. Но, как бы это ни высмеивали горе-авангардисты и антисоветчики, он оказался подлинным и был несравненно выше примитивно-описательного натурализма перестроечной чернухи. Причина, видимо, в точке зрения: соцреалисты предпочитали перспективную, в то время как ремесленники нуара и арт-хауса тенденциозно сужали и кругозор и «творческие методы». В итоге их жизненные наблюдения выродились, в лучшем случае, в натюрморты (досл. «мертвая натура») бытовых примет, а в худшем — в бездарно-протокольную констатацию политизированной злобы дня.

Явление того же порядка — увлечение Запада Достоевским, Чеховым и Толстым, объясняемое достаточно просто: все трое достоверно живописали обывателей. Нет нужды объяснять, что упомянутые классики отнюдь не бытописатели, оттого столь разнятся понимания их произведений «у них» и «у нас». Тем не менее, импортные интерпретации отечественной литературы крайне редко выходили за пределы иллюстративности, в лучшем случае безнадежно упираясь в «феномен загадочной русской души», ставший (и справедливо!) синонимом красивого и неразрешимого парадокса. Итак, русский (по нашему убеждению) есть принадлежность не этническая, а культурная, но при этом — врожденная.

История пишет свой автопортрет людьми, словно красками. Но вот чудо — в целом картина похожа на каждого из нас. В храме души — свой, особенный, личный иконостас. Но коль скоро личности образуют общество, то в таких храмах будут образа (в большинстве своем) тех же святых — совести нации. Однако сие не означает, что лики всех икон станут изображать стандартно. Канон и шаблон — вещи несовместные, и незыблемость догмы в России обеспечивается ее

красотой. Русское мышление это «умозрение в красках» (термин Е. Трубецкого), но не в абстракциях, ведь абстракция — не более чем обнаженка конкретики. Тем и привлекательна для незрелых умов, как всем незрелым — всякая обнаженка. Красота же Истины в образе, но не в формуле.

Суть эстетизации тонко подмечена Н. Лесковым в бессмертном сказе о русском Левше, подковавшем стальную аглицкую блоху. Танцующая блоха — прикол, техно-кунштюк, подкованная — остроумный артефакт, и зачем ей в таком статусе плясать? Погоня за функциональностью превращает искусство в дизайн и масс-культ. Конкурентная спешка, необходимая при блохоискательстве, вряд ли способствует созерцательному богоискательству. В этом — отповедь полагающим, будто русские-де оптом приобрели у Запада технологии и философские теории. Возможно, кое-что переняли, но как освоили и украсили, насколько преобразили!

Эстетику истории мы понимаем как творческий поиск со-бытийной гармонии. Изыскания эти несходны ни с криминалистикой (обнаружением, фиксацией и оценкой доказательств на суде истории), ни с подменой гармонии мертвой симметрией сдержек и противовесов. Эстетизация — путь разрешения антитезы между любовью к ближнему и любовью к дальнему, обозначенной Ф. Ницше и развитой С. Франком. Оговоримся: тяга к красоте и справедливости в русском характере имеет мало общего с ницшеанской «любовью к вещам и призракам», поскольку овеществленность и призрачность идеала равно для него гибельны. Идеал не эталон, тем паче — не иллюзия, скрывающая либо декорирующая малосимпатичные реалии. Иррациональная реальность идеала осмысливает действительность. Такова суперация истории, когда последующая нота украшает и оправдывает предыдущую: хотя бы потому, что без предыдущей и она была бы невозможна, даже в диссонансе. Гармонизация — скорее эстетическое истолкование и оправдание, нежели примирение, адаптация, компенсация или формальная альтернатива.

Обрести гармонию — значит уловить консонансы и резонансы мироощущения с мирозданием; в этом чувстве ритма, синкопы — корень восприятия истории. Естественно, на определенной частоте; следовательно, и вариаций столько же, сколько частот — тех деталей и обстоятельств, вокруг которых и в согласии с которыми выстраивается гармония. Субъективный, очень человеческий момент: какой образ считать ключевым, поэтому идеология представляется нам категорией эстетической, а творчество — этической. Одним словом, на фоне принципа равенства всех перед законом опошления идеалов — самобытность в том, как исповедуется идеал творчества тем или иным народом. «Русский человек мыслит не отвлеченно, а пластически. Он художник, эстет и в религии. Легкое воспарение над тяжелой инерцией исторического позитивизма — черта наиболее архаич-

ческая, первохристианская в русской религиозности. Русские — это современные фессалоникийцы, дети Павла», писал А. Карташев. Мы считаем, образное мышление русских ярко проявлено в уникальном чувствовании подтекстов, аллегорий и аллюзий, ибо в настоящем есть лишь то, чего нет по-настоящему. И уже не удивляет, почему в России из всей литературы сатира — жанр вечно актуальный и пророческий, хотя (по логике вещей) должна быть самой «скоропортящейся» и намертво привязанной ко временному контексту.

Историю творит индивидуальность, т. е. (в дословном переводе с латыни) нераздельность. В массе она проявляется объективно, физически (сплоченность, солидарность), в личности — психологически: цельность натуры великой личности духовно возвышает прозелитов, заставляя вспомнить о Личности соборной. Люди, вдохновляемые (а не мотивируемые) пророками и святыми, пресуществляются в мир, а ведомые вождями — в народ. Мы полагаем, дилемма «личность или массы» в вопросе сотворения истории не столь актуальна. Историческая роль масс — в ревизии и редукции идеалов. Примечательно, что в русском языке есть средства, безошибочно определяющие выход в тираж: чаадаевщина (снобское критиканство), достоевщина (обсессивная покаянность), тарковщина (унылая претенциозность). Этим приемом подчеркивается типизация, пародирование внешних форм чего-то изначально неординарного, личного, пропущенного через сердце.

В данном ракурсе чрезвычайно любопытен также ассоциативный круг, замыкаемый на родную историю: так, Петра Великого именуют первым русским большевиком, а графа С. Витте — первым наркомом (соответственно, наркома финансов Г. Сокольникова — «советским Витте»). С другой стороны, мало кому придет в голову соотнести личность Ивана Грозного с Генрихом VIII Тюдором или Нероном; куда адекватнее сравнение со Сталиным (при этом — не Сталина с Гитлером!). Мы намеренно провели аналогии в сфере политики, т. к. принципы ее незатейливы и оттого повсеместно схожи. Тем не менее, даже здесь параллели искусственны и натянуты. В области искусства такое звучит сущим абсурдом: не дико ли называть Лермонтова русским Байроном, К. Леонтьева — русским Ницше, и говорить о тождестве «Войны и мира» с «Унесенными ветром»? Как видим, подобного рода сопоставления в лучшем случае поверхностны, неверны, режут глаз и слух — иными словами, некрасивы. Вот в этом иррациональном, но вполне уловимом эстетическом чувстве заключен решающий нюанс, он заведомо выше фактологии и абстрактной логики.

Есть, однако, показательные исключения, подтверждающие правило. Горбачева совершенно справедливо уподобляют Иуде. Именно потому, что Горби — персонаж откровенно антирусский, чуждый отечественной культуре (вообще, предатели повсюду одинаковы и презренны), космополитичный. К тому же, и масштаб совершенной им измены — поистине вселенский.

Вспомним идеологическое обеспечение «застоя», который никогда не назовут «брежневизмом» хотя бы оттого что Брежнев — один из самых последовательных гуманистов всех времен. Не обладая ленинским даром теоретика, дорогой Леонид Ильич запомнился бесконечно трогательным в искреннем желании приблизить светлое будущее для миллионов советских людей, заботясь об улучшении их быта, образования и вообще — социального самочувствия. Но народ, исторически воспитанный обстановкой решения априори непосильных задач, был обескуражен возможностью остановиться, передохнуть и испытать «чувство глубокого удовлетворения» содеянным. Вечное недовольство настоящим проявилось и в том, что временный привал позже окрестили временным застоем. Подчеркнем: застой — насквозь лживая формулировка — пропагандистский штамп, претендующий на образ эпохи, но парадоксально освященный народной памятью.

С перестройки началась голливудская история России, эра лубочно-колониального гиньоля. Для дискредитации социализма заокеанские хозяева Горбачева подсказали ему, где раздобыть «совесть нации» — среди ветеранов-«афганцев» и якобы чудом уцелевших «жертв сталинских репрессий» (отчего-то вполне благополучно доживших до конца восьмидесятых, да еще и подвизавшихся на тучной ниве СМИ). Характерно: в брежневские времена высшая власть чуралась светской жизни и была скромна в поведении, хотя представители ее получали многочисленные государственные награды. Вот на стремлении не афишировать свои заслуги и сыграли бесы гласности, раздувая мифы о том, будто лидеры эпохи застоя не лидеры вовсе, да и ушедшие вожди — не вожди. В этом низком состязании с умершими Горбачев смог на время обзавестись дешевым авторитетом и получить статус гаранта перестройки. Гаранты-последыши эксплуатировали то же ноу-хау, уничтожая историческую преемственность, извращая саму идею прогресса и исторической судьбы нации.

Опошление идеала начинается, когда исключения становятся правилами, тем самым теряя свою исключительность. Нынешнее (инициированное и провозируемое Западом) восстановление руин сталинского ампира и кондового самодуро-державия — не более чем шоу восковых фигур и развлекательно-отвлекающий балаган в духе Диснейленда, сфабрикованный по мотивам имперских баек и советских политических анекдотов. Как ни странно, в помощь колонизаторам — чисто русская склонность к самоотрицанию, горькая самоирония взгляда на себя из «прекрасного далека», из «мира невозможного». Но в русском кенотизме заложен и мощный суперационный стимул развития, совершенствования. Неспроста одной из самых осмеянных советских идиом стало пресловутое «чувство глубокого удовлетворения», credo благословенного брежневского «застоя». И только после тридцатилетнего постперестроечного зазер-

калья слова эти стали понятнее и ближе нам, засияв, как звезды, которые всегда лучше видно со дна колодца.

Золотое правило социальной механики гласит: проигрываем в политике — выигрываем в совести. Возможно, легенда о призвании варягов не изложение конкретного факта (неважно, искаженное или нет), но оригинальная идея, когда народ не ждет случая быть завоеванным, а сам определяет себе тех чужих, которые во властном статусе навсегда отчужденными и останутся. Русская государственность не была сформирована иноземным завоеванием, но ширилась завоеванием внутренним, реализуемым по схеме внешнего: так, в петербургский период наследственное чиновничество усердно оприходовало собственный народ. Правда, лютость петровских реформ отчасти находит искупление в просвещении России (как в горьком афоризме Г. Горина: «большой просветитель был, порол нещадно!») История пишется в назидание потомкам, она нужна живым и непременно должна быть живой, дабы утешать, воспитывать и учить. Уроки ее в том, что она имеет обыкновение повторяться, призывая к работе над ошибками. История не для апологии минувшего, а ради оправдания живущих.

Настают времена, когда уже не устраивают утилитарные «как?» и «зачем?», людям становится мало объективного «почему?», и они вопрошают — за что? Главное в любой истории — узнать ее финал; сие трагичное знание придает ей особую ценность в смысле изучения и наделяет смыслом эстетизацию. Историческое исследование не следственный эксперимент и не исчерпывается реконструкцией событий, а скорее нуждается в реставрации культурной памяти (в известном роде это гештальты национальной истории, выводимые из нее самой как содержимое из содержания). Человеческий ум и воображение гораздо деликатнее и органичнее восстаноят утраченные фрагменты, нежели формально просчитанные интерполяции и усредненные биты и пиксели.

Вероятно, уважаемый читатель заметил: наш текст изобилует отрицательными частицами и антитезами. Во-первых, тем самым подчеркивается его полемичность (кстати, весьма свойственная традициям русской мысли). Во-вторых, обозначается апофатический характер и метод изложения, ибо апофатика — это искусство убеждать, не аргументируя. И потому — принципиально чуждое конфронтации. По Вал.Муравьеву, «все изменения в мире, изучаемые наукой, являются функцией то или иной множественности элементов». Получается, человеку исключительно сложно объять всеединство, мыслить вневременными категориями. Наука на такое не способна, но у религиозного и творческого мышления шансы есть.

Отринем упрощения: человечество — вовсе не статистическая «совокупность человекoв», куда правильнее представлять его образом, коему должно пребывать в грядущем. Соборное человечество превзойдет противоречия любых теорий про-

гресса: и мистических, и позитивистских, и идеалистических. В конечном счете, спор двух миров (советского и буржуазного) тоже укоренен в символе веры — вопросе о реальности построения коммунизма. Вероятно, оттого что русское слово «построение» парадоксально существует в измерениях и процесса, и итога. Результато-ориентированные глумятся, верующие в Путь подвижники — строят. Мы убеждены в истинности советской парадигмы, где единое направление человеческой истории — освобождение труда во имя сотворения светлого будущего ради всех и для каждого.

Русская история уникальна, но при этом отнюдь не локальна, не обособлена и не помечена вечным ордынским ярлыком евразийства. Если рассматривать Запад и Россию в плане власти, налицо удивительная синхронизация форм правления: военная демократия, раннефеодальные монархии, раздробленность, национальные государства, сословно-представительные монархии, просвещенный абсолютизм и т. д. При сравнении в контексте технологического роста — выявляется очевидное запаздывание нашей страны. Сопоставляя историю философии, обнаруживаем редкостную статику, незабываемость русской картины мира («остановившиеся часы хотя бы дважды в сутки показывают правильное время»), особенно на фоне зарубежного мировоззренческого разноглосья. В итоге можно сказать, что три выбранных системы координат вполне образуют для России целостное пространство исторического времени, тогда как буржуазная гуманитаристика зачастую обслуживает потребности, адаптируя реальность к очевидности, упрощая вечное до относительного. Отсюда детерминизм, толерантность, квази-концепции (модерн, постмодерн), нигилизм и очень много критики — не всегда, впрочем, конструктивной («писания бо многа, но не вся божественна», как говорил прп. Нил Сорский).

Итак, Россия и впрямь иная планета, но вместе с планетой Запада вращается по разным орбитам вокруг единых христианских идеалов. Другой вопрос, что Запад перманентно экспериментирует с настройками радиуса орбиты и скорости вращения, планируя высадку на Светило и его ближайшее присвоение, тогда как Русь относится к сакральному Светилу подобающе благоговейно, орбиту не меняет и скорее допустит конец света у себя, чем исчезновение источника света.

Возможно, мы допустили не вполне академичную образность, метафоричность изложения, но и это — снова в русле национальной традиции. Эстетизация есть тот путь (безусловно, сложный), который и не рассорит людей, и напомнит им: в каждом живет чувство прекрасного; предназначение человека — творческий поиск гармонии в себе и во всём окружающем.

МУЖЕСТВО ОСТАТЬСЯ

Не отиду от места сего, ни отбежу,
лучше есть умереть ту, нежели на чужой стране.
Св. блгв. кн. Борис Владимирович

Знаю, что мне надо жить тут, и больше ничего.
Понадоблюсь я им — отлично, не понадоблюсь — буду сидеть и пить славянскую...
Стало быть — жить тут и ждать. Вот и всё!
Гл. Успенский

Для русского Родина скорее в сердце, нежели на карте, и потому Россия есть понятие в большей степени культурное, чем географическое, ибо собственно земля здесь человеку не принадлежала — она осваивалась государством. Свободная от стеснений власть остро нуждается в концентрации, а сосредоточенно-концентрированная мысль — в свободе. Самым неожиданным манером обе стихии обретают себя: власть на пространстве державы, мысль — на просторах исторического времени. И думающие люди уходили из безвременья в пространство личных воспоминаний — так рождалась уникальная философия духовного партизанства, девизом которой могли стать слова В. Свенцицкого «суть человека — его индивидуальное, глубокое, особенное, самое главное — в общественной жизни не участвует».

В мире государства поводом к доверию был властитель вне формальной очередности престолонаследия, не запятанный грехами и порочными причинно-следственными связями, буквально будто с неба свалившийся: такое вполне укладывалось в историческую традицию преемственности отрицания. А упавший с неба всё равно что Небом рекомендованный. Интеллигенции верили, поскольку она над трендом и контекстом, т. е. тоже ниоткуда. Вот отчего власть старалась переманить на свою сторону «властителей дум» (ныне их статус опущен до пошлой роли инфлюенсеров и лидеров мнений). Миссия интеллигенции собирать камни, разбросанные народом в ходе бунта против власти, выстраивая идеологический фундамент. Здесь и гарантия обновления мира, и залог преемственности вечных ценностей. С другой стороны, государство необходимо

интеллигенции, как душе человеческой — тело: и для преодоления искушений, и для покаяния, и для возвышения над бrenным и тленным. Чтобы оценить этот мир, надо быть не от мира, но во имя спасения оного требуется, будучи не от мира сего, пребывать в миру — в раннехристианском послании к Диогнету сказано: «всякая чужбина им отечество и всякое отечество — чужбина» (сравним с пушкинским «нам целый мир чужбина, отечество нам Царское село»).

Мы считаем, русская культура создана эмигрантами — но только внутренними, а не политическими. Например, отечественный критический реализм поднимал темы социальной этики, однако собственно государственным устройством интересовался мало — не потому ли, что (словами М. Погодина) «наша вера, углубляясь внутрь, оставила светскую власть, как ей угодно». «Бездеятельная, но умная леность» смирением своим по-обломовски освещает и облагораживает неизбежную грубость той вседвляющей воли, коей вынуждены повиноваться. Прислушаемся к М. Пришвину: «человек современный — двойная личность, как выражение внешней общественно-принудительной неправды и внутренней пленной правды. Господи, но когда на Руси было иначе?» Итак, внутренняя эмиграция — это итальянская забастовка сознания против самодурства бытия, ее можно признать нашим национальным методом гармонизации реального и действительного, обретения цельности природы и возможности сохранить в себе человека как микрокосм, а не запчасть людского материала.

Сверхзадача — выстраивание мира вокруг себя, объединение изнутри, концентрация (у Д. Веневитинова прекрасно сказано: «не ищет вчуже утешенья душа, богатая собой»). В этом ракурсе аскетизм и внутренняя эмиграция суть ипостаси подвижничества, способы разрешить противоречие между личным и личностным, не смешаться с безликой толпой, но приобщиться к лику соборного Человечества. Природы попроще и менее самодостаточные боязливо жмутся к себе подобным, склонны апеллировать к коллективному бессознательному (привычки, обряды, суеверия), а вот более развитые чувствуют одиночество даже в кругу себе подобных, ведь интеллигенция весьма условна именно как социальная группа: «широкие интеллигентские массы» — нонсенс. Тем не менее, именно сознательные люди претворяют образ соборной Личности на Земле: по М. Пришвину, «народ переходит в интеллигенцию на сохранение. В ней и будет невидимый Град». Даже русский космизм можно признать оригинальным вариантом внутренней эмиграции.

Наши интеллигенты обыкновенно живут былым, там у них все возможно и всё лучшее. *Präsens* всегда не «ихний» период (по В. Эрну, «гений нашего времени стоит спиной к современности»). Вместе с тем, они и не в контексте их же прошлого, поскольку сами сей контекст создают и задают. Жить на проценты с душевного капитала, нажитого когда-то — традиция наших внутренних эми-

грантов, ибо «день ненастный не нашего века» — единственно возможное настоящее время в России. Как свидетельство катастрофичности времени — полное сарказма присловье: никогда такого не было, и вот — опять!

Развивайся мир эволюционно, не случилось бы мировых войн. Мистическое, подсознательное ощущение дремлющего в каждом человеке зверя не позволяет почивать на лаврах социального развития в надежде на гарантии неотъемлемости и правопреемства культурных ценностей и благ цивилизации. Трагические ошибки — самые очевидные аргументы в пользу прерывного характера истории. Например, период после смерти Брежнева был для советского социализма «кризисом среднего возраста», вызванным ложными сомнениями и опасениями. Держава остановилась на пороге коммунизма, интуитивно чувствуя невозможность его самопроизвольного наступления. Уже переосмысливали «святоотеческие» заветы Владимира Ильича; наставления Леонида Ильича («экономика должна быть экономной») цитировались иронически, и на этом фоне как fools gold засияли киевтистские опыты Ильи Ильича Обломова. Конечно, философия — дитя неприкаянности, но безоглядный уход в себя приводит к интериоризации, даже к интерьеризации самой идеи «дела», когда обломовщина становится маниловщиной.

Вся соль знаменитого девиза из вольтеровского «Кандида» (возделывать свой сад) — в притяжательности. Запад мнит «свой» как «собственный», частный. Россия — как «родной», неотъемлемый. И потому «у них» так обихожена территория, в то время как у нас культивировали «загадочную русскую душу», оберегая ее от сорняков мещанства и мелочности. Для контраста приведем два поэтических фрагмента. Вот строчки из «перестроечного гимна» эмигрантского шансонье В. Токарева:

А нас до этого наш рулевой,
Он вел нас прямо дорогой кривой,
Но понял даже слепой и немой,
Что надо прямо идти по прямой.

...и цитата из песни на стихи советского (тогда еще) поэта Е. Евтушенко:

Над Россией слышатся шаги.
Ты в пути ни шагом не солги.
Прямо — это здорово!
Но сверни в ту сторону,
Где услышишь чье-то «Помоги!»
Все перешагни и не робей,
Если горы встретятся — пробей!
Песню ты подтягивай,
Но не перешагивай
Ни друзей, ни совести своей.

«Прямо по прямой» или «сверни в ту сторону»? Рассудок, не сдерживаемый нравственностью, со временем отменит ее как помеху физиологии. Вульгарный материализм (облигатный симптом безрелигиозного общества) непременно приводит к противопоставлению себя некоему внешнему миру, эдакой гипертрофии личности на фоне атрофии социального окружения, тогда как суть гуманизма заключается в трагическом противоборстве мещанской мантры «на всех не хватит». Отсюда извечное предубеждение нашего народа к разного рода успешным персонажам, коими могут стать только циничные деляги и безнравственные торгаши. Русская самоотверженность не только в пренебрежении личной выгодой, но еще и в самобичевании, не позволяющем (что важно!) производить данную «экзекуцию» окружающим: русские крайне нетерпимы ко всякой критике извне. Наш мир повсеместно и всегда внутренний, и потому лучше уж «кураторы» из своего министерства внутренних дел, чем иноземные прозекторы, копающиеся во внутренностях русского мира. По данному вопросу любопытна позиция Н. Страхова: «постоянная потребность самоосуждения, самообличения и даже самооплевания составляет одну из черт русского характера. И т. к. за маленьким гоняться не стоит, а большое не так-то легко дается, то мы и предпочитаем сидеть сложа руки — и ругаться». К слову, национальный кенотизм, выраженный также в страсти к самокритике, едва ли склонит русского человека к мизопатрии. Это в большей степени удел инородцев, в России проживающих, но не проживающих ее судьбу и за нее не переживающих.

Расслоение общества всегда стартует по нравственному градиенту: в период взбаламученности все подонки, всё низменное выталкивается на поверхность или (как «то самое») всплывает само. В восьмидесятые годы умы будоражили демократы-печальники — «хороняки и бегуны», на ходу переобувшиеся в «человеков мира». В СССР некоторые из них слыли популярными писателями-юмористами, и в урочный час у отставных забавников прорезался пророческий дар. Их перестроечные опусы отличает мещанская вульгарность вкупе с озлобленно-антисоветским посылом. Их новый идеал — сусально-сентиментальная белогвардейщина, словно состряпанная на заказ в одесской артели «Московские баранки»: вся эта пошлая типа-казачья романтика, тоскующие поручики и лихие подъесаулы, гимназистки румяные и проч. — отнюдь не ретро-тематика, а калька с эмигрантской попсы, которая (как всякий импорт) имела здесь огромный успех. «Буревестники гласности» — и Салтыков-Щедрин, каков контраст: трагический пафос и боль за Родину у русского писателя — и мелкое злорадство записных остряков с кругозором не шире замочной скважины, которые (словами В. Шулятикова) «охотятся на красного зверя и потому больше улюлюкают, чем говорят». Если дореволюционный период в искусстве называли Серебряным веком, то гор-

бачевский заслуживает наименования века ржавого. Вот так (не без помощи западных советчиков) миссию интеллигента опошили до статуса диссидента.

В угаре зубоскальства перестроечные балагуры забыли, что искренность — это редкое душевное качество, тогда как откровенность — просто недержание правды. Чтобы характеризовать закономерности и вообще инволюцию, не требуется быть глубоким психологом — достаточно элементарной наблюдательности, которая зачастую вытесняет зоркость сердца. Хлестаковщина дает нам образчик нравственного падения человека, не обделенного фантазией, как только тот почувствует себя «в ресурсе». Таких полно среди экс-советских артистов и режиссеров-чернушников, а ныне — жиреющих рантье своих давних заслуг. Молодежи они неинтересны, уважение советской публики потеряли, они и сами себя презирают, ибо вынуждены подпитывать медийную узнаваемость участием в гав-гавток-шоу и политфарсах. Тем не менее, их жалкая судьба — наглядный образчик, как, предав миссию избранных, соглашаются жировать в статусе элитных. По Марксу, «если хочешь быть скотом, можно повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре». Наемничество в принципе отрицает любой патриотизм, даже корпоративный. Наймит не то что не исповедует ценности, он даже не придерживается их, пока это не будет оплачено. Пятая колонна в ветхой избе, где ютится постсоветская Россия — как уродливый признак евроремонта. Это скорее безвкусно и смешно, нежели опасно.

Думаем, самое время оценить преобразующий (вернее, реанимационный) потенциал эмигрантского наследия. Русская «литература в изгнании» являет собой достойный пример того, что «общественная мысль» может быть намного глубже и выше стройной философской конструкции. И всё же следует признать: подлинно русская всеохватность тематики была скорее характерна для «отечественного» периода творчества эмигрантов. После отъезда, видимо, сама атмосфера буржуазной культуры убедила их, что бытие таки предопределяет сознание, а потому некоторые написанные за кордоном опусы справедливо считать ангажированными и продиктованными личными мотивами. Выражаясь идеологически — откровенной антисоветчиной.

Кредо демагога: любой камень преткновения — гарантированно философский. После победы Октября эмигрантская среда (а с ней и мысль) поляризуется, она отмечена категорическим неприятием «Совдепии». Подобная тенденциозность явно не равнозначна национальной кардиогазии. Каждый пассажир «философского парохода» увез свою Россию и, возможно, сам того не желая, приватизировал необъятное в частных воспоминаниях и размышлениях. Творчество русского зарубежья представляет собой мозаичные фрагменты, красивые и изысканные сами по себе, но без шансов мозаику собрать, тем паче воссоз-

дать облик Родины. К тому же, многие умы эмиграции разменяли национальный универсализм на дивиденды от усредненной международной известности, когда читают почти все, но никто особенно не чит. Космополитизм как свальный грех абстрактных гуманистов есть подвешенное состояние «промеж народов»; ничемность и выморочность — то, чем отмечены «откровения» представителей третьей волны эмиграции.

Когда Россия не вокруг вас, а по ту сторону, суждения о Родине становятся односторонними, превращаясь либо в ностальгические ретроспекции, либо в злободневные плоды раздумий, вызванных полит-повесткой. Отчизна становится берегом утопии, оттого и программы эмигрантов по ее «спасению» (при всей возможной научности и даже красивости) трудно назвать реалистичными.

Полагаем, о действительно эмигрантской культуре вернее говорить начиная с периода советского — да и то применительно к деятелям т. н. «первой волны». Про русских революционеров XIX в. замечательно сказала Э.Л. Войнич: «они не смогли стать европейцами. Россия была для них всем на свете, но в России им было нечем дышать и нечего делать». И всё же Бакунина, Лаврова, Герцена, Огарева и Плеханова едва ли можно причислить к представителям собственно эмигрантской литературы. Дело в том, что царская Россия не настолько контрастировала с буржуазным Западом, как Россия большевистская; не было принципиальной разницы в идеологии и, соответственно, в образе жизни, посему критика капитализма в работах упомянутых авторов универсальна, чем ценна и для зарубежной культуры в том числе. Тем не менее, наши эмигранты никогда не пытались «вправлять мозги» западной публике, даже когда писали специально для нее («Россия под властью царей» Степняка-Кравчинского). В этом сказывается русская чуткость и редкий талант эмпатии, не позволяющий беспардонно вступать в чужую культуру.

Бесспорно, экономическое преуспевание желательно, но в миссии прогресса оно не самоцель: негоже уподоблять зажиточных людей сытым собакам, которые-де не кусают. Нынешние капстраны потому позиционируют себя оазисами социального благополучия, что благодаря грабительской политике позволили своим гражданам сделаться эксплуататорами колонизированных народов. Посредственности слипаются в средний класс: филистеру вполне комфортно быть прокладкой между недосягаемой элитой и невидимыми рабами. Вследствие изрядной удаленности стран третьего мира моральная проблема теряет остроту и сглаживается паллиативом шоу-благотворительности в стиле «We Are the World».

В итоге — то, что К. Леонтьев называл «опиджачением» всего мира по усредненной выкройке масс-культы. С XX в. в западной культуре мысль вытесняется

выдумкой. За рубежом неспроста очень популярен Достоевский: большинство его героев — одномерные психопаты, именно такой типаж интересен, близок и понятен буржуазному читателю, издерганному тиранией рынка и СМИ. Психопатия там — едва ли не единственный (и самый безотказный) способ выделиться из общей массы: накреативить себе хайпа, забайтить фолловеров, заскамить мамонтов и затроллить хейтеров. Достаточно какой-то гипертрофированной детали: в поведении, манере выразаться и т. п.

Вектор западной морали — кольцевой хайвей индивидуализма. Мыслители ограничивают понятия, дробя явления до того, что уже неделимо (монады Лейбница или клетки Шванна), однако затем выясняется, что и мельчайшая единица заключает в себе множественность еще более мелких элементов (деление атома), и так до бесконечности. Нам же представляется, куда вернее идея единства, а не единичности.

Опыт соборной Личности вкупе с мощью исторической инерции предоставляли русским возможность освоить и усвоить заграничные заимствования, не затрагивая нравственного фундамента общества. В допетровской Руси то был многовековой патриархально-православный уклад, в доперестроечной — славные десятилетия уклада советского. Выражаясь фигурально, отношения слепопетровской России и Запада в чем-то напоминают версию истории Икара и Дедала, многим поучительную и для всех — красивую. И. Киреевский справедливо отметил: «западный человек искал развитием внешних средств облегчить тяжесть внутренних недостатков. Русский человек стремился внутренним возвышением над внешними потребностями избежать тяжести внешних нужд». Вечное желание взлететь не зависит от очередного техно-прорыва, оно его формирует и благословляет. И сколько бы ни было трагических падений, в одно прекрасное утро Человек воспарит к Солнцу — без накладных крыльев и прочих гаджетов.

Творить мир во всём мире — сложнейшая из задач и единственно достойная исполнения. В буржуазной модели миропорядка каждый предоставлен сам себе, но что ему ближе: искать свое место под солнцем или пробивать себе место под солнцем? Не исключаем, в эвдемонизме присутствует известная доля демонизма. Счастье — мещанский фетиш: любая резиновая баба вправе заявить «я создана для любви!» Отстаивать собственные житейские интересы куда проще, чем бороться за идею. Р. Рождественский блестяще шаржирует политэмигранта и диссидента:

Увозил меня полковник за кордон,
Был он бледный, как покойник, миль пардон,
Говорил он всю дорогу о Руси:
— Живы мы и, слава Богу, гран мерси.

— Извините, мсье полковник, чем стареть,
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу.
Он ответил: — Что я, рыжий? Не хочу!

В переломные для Отечества моменты — не до психологий и рефлексий. В жестком размежевании на «контру» и «наших» не примитивизм, а принципиальная бескомпромиссность истинной веры. Несправедливость классовой правды в уповании на вселенскую Истину — как показание к оперативному вмешательству. Русский мир сейчас тяжело болен (инфицирован колониальной заразой), но не стар, как осоловевшая Европа и разомлевшая Америка. И когда предлагают альтернативу, русские не выбирают — они остаются.

Родина начинается с оседлости, и культуру нашу создают те, кто умудряется жить здесь, оставаясь людьми. Чтобы оставаться русским за рубежом, достаточно культурной памяти. Но чтобы остаться русским на Родине, требуются еще изрядное мужество и вера в историческое призвание народа.

ЭПИЛОГ

Я чую сердцем и умом, что история толкается в наши ворота.

А. Герцен

И если кто (предполагаем в случае успеха) скажет тогда:
«Он не хитрил, он сам заблуждался и мечтал о невозможном»,
на это ответят: «Тем лучше. Это трогательно».

К. Леонтьев

На мой взгляд, ключевая интрига истории — единение, собирание себя, но не автоматическая самосборка. Неповторимость отечественной истории в интегративном, провиденциальном характере: беспощадно логичная в трагических эпизодах, в целом она парадоксально оптимистична — таков ее истинно христианский дух. И вырисовывается (не)удивительная параллель: Спаситель пришел из глубинки на задворки Римской империи. Он явился тем и там, где нация с богатым и драматичным прошлым сама от себя устала; где идея богоносительства выродилась в ханжеское фарисейство и желание на халяву поживиться благами заморской цивилизации. Он проповедовал народу, колонизированному процветающими за счет угнетенных племен римлянами, повсеместно насаждавшими однообразный порядок плотско-плюралистического язычества. Что случилось дальше — ведомо всем. Только вот вопрос: неужто Второе Пришествие случится здесь, ужель в царствование Ирода?

Сегодня каждый, кто не олигофрен, уже значительно перерос действительность. Для русских унизительно амплуа ковёрного, потешно избобличающего подковёрные игры коллективного Запада. Дорогие соотечественники, мы наследники великой и (главное!) самодостаточной культуры, и это поможет нам, как сто лет назад, воспарить над проблемами и явить сверхисторический пример превосхождения хода вещей трудом и верой. Разумеется, пример не ради примера (как саркастически выражался Чаадаев), но во имя мирной и справедливой жизни нашего народа, который по натуре своей всё равно не смирится с тем, что где-то на свете ложь и зло еще торжествуют.

Подлинная свобода только в жертве, но когда последний динарий отдан кесарю, чем и кому жертвовать? По моему убеждению, даже из самоуважения следует презреть колониальные стандарты успеха и благополучия. Опьяненные потребительством убедятся вскоре, что мешанская потребность «объехать много стран и целоваться на глазах у всех» — первая стадия неизбежного возврата к разбитому корыту.

Русским пора стать едиными в духовном родстве и братской поддержке: не пасовать перед Хаосом и Хроносом, а взять в руки и себя и время. Эпоха рождает своих героев и былинников речистых. Самое сложное — пресуществиться из масс в народ, будет он — станут достижимыми и более земные материи, называемые политикой и экономикой. Да, это во многом напоминает «культурничество», но ведь его не отвергал и такой великий реалист, как Ленин!

Утопия есть декларация рая с презумпцией грехопадения, а истинное светлое будущее настанет, когда в людях воскреснут и проявятся лучшие качества. По иронии судьбы, человечность пробуждает и метанойя — горькое озарение, переосмысление ценностей, вызванное национальным позором и страшным потрясением (помните, «но зачем, чтоб стать сильней, нам нужна беда?») Отчаянно хочется верить, что последнее не случится, и русские люди прозреют прежде, чем злой рок вынудит их стать «негативным народом» — на погибель угнетателям, социальным паразитам и прочей нечисти.

Инстинкт истины, сформированный нравственным опытом поколений и освященный нашей верой, не позволит опуститься до невежественного апломба, этнорелигиозного фанатизма, дикости и зверства, чем грешат многие возомнившие себя здесь хозяевами (про таких у Радищева сказано: «время с острым рядом зубов смеется вашему кичению»). Чуждые и предавшие не имеют морального права учить нас жить, равно как и советчики, навязывающие рецептуру улучшайзинга «с международной апробацией и рекомендациями лучших людоедов» — и признающие в то же время, что загадка русской души им не по уму.

С нами мудрость предков и благословение соборной Личности. С нами память о Союзе и вечно живой идеал Святой Руси.

РУССКИЕ, ВОЗВЫСИМ СЕРДЦА!

ЧАСТЬ II

О РУССКИХ И РОССИИ
(ИЗРЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ)

Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.
А. Дементьев

Здесь представлены фрагменты, по-разному характеризующие русскую тему. Расположены они намеренно произвольно, дабы уважаемый читатель самостоятельно определился со своей точкой зрения и нашел что-то духовно близкое ему лично. А может быть — перечитал бы заново и главы этой книги.

Русские — народ, создавший свою культуру на почве одного вдохновения, одного идеала (А. Карташев).

Россию блокировать нельзя, как нельзя блокировать небо (С. Дангулов).

Россия, Русь, Великороссия — не совпадающие, а концентрические величины, каждая из которых должна получить свои идейные (и территориальные) границы (Г. Федотов).

Каждый маленький народец, вчера полудикий, выделяет слой полуинтеллигенции, которая уже гонит от себя своих русских учителей. Подростающие дети, усыновленные нами, не хотят знать вскормившей их школы и тянутся кто куда — к интернациональному геометрическому месту, то есть к духовному небытию (Г. Федотов).

Туманность послебольшевистского «завтра» парализует энергию «сегодня» (Г. Федотов).

Избави Бог публицистику пророчествовать, а тем более — в России (Г. Федотов).

Русское искусство 20-х гг: базаровщина, пропущенная через брюсовщину (Г. Федотов).

Россия отвергает все глубокие слои западной культуры — от античности до либерализма — но жадно бросается на последние слова нового, «американского» дня (Г. Федотов).

«Режимонализм» — единственная легальная форма патриотизма в России (Г. Федотов).

По сравнению с императорской, революционная Россия поражает однородностью своего состава (Г. Федотов).

Редко можно было встретить в России человека, призвание которого (в его глазах) совпадало бы с профессией (Г. Федотов).

Политические партии обессилили власть и поэтому все без исключения политические партии являются косвенными виновниками страшной русской смуты (В. Свенцицкий).

Николай II никогда не был хозяином России. Но он несомненно был хозяином своих преступных слуг. И теперь справедливость требует судить его вместе с ними (В. Свенцицкий).

Церковь воссоздает непрерывное единство прошлого и настоящего и в этом смысле является в России единственной носительницей духовного преемства (Г. Федотов).

Цари наши в общем и существенном смысле исполняли свое историческое предназначение — так или иначе расслоить Россию и тем самым возвеличить ее (К. Леонтьев).

У нас, русских, нет другой жизненной задачи, как опять-таки, разработка нашей личности, и вот мы, едва возмужалые дети, уже принимаемся разрабатывать ее — эту нашу несчастную личность (И. Тургенев).

Свобода великая и соблазнительная вещь, но мы не хотим свободы, если она, как было в Европе, только увеличит наш вековой долг народу (Н. Михайловский).

Своеобразный анархизм Толстого, а главным образом Достоевского и религиозных романтиков — ведет свое начало по прямой линии от славянофильства (Иванов-Разумник).

У русского крестьянина нет нравственности, кроме вытекающей инстинктивно, естественно из его коммунизма — немногое, что известно ему из Евангелия, поддерживает ее (А. Герцен).

Для интеллигенции революция была жертвой, демократия — снисхождением (Г. Федотов).

Чем сильнее заболела светобоязную власть, тем определеннее делала она ставку на крестьянскую темноту (Г. Федотов).

Социально деградировавшая, но морально крепкая Русь (Г. Федотов).

Личная этика могла, как часто на Руси, совмещаться с общественной беспринципностью (Г. Федотов).

В России внеклассовая государственность вовсе не утопия (Г. Федотов).

Соединение мужицкого царя с дворянским государем создавало из петербургской императорской власти абсолютизм, небывалый в истории (Г. Федотов).

При чтении русской литературы рядом с голосом художника слышится еще и голос проповедующего священника (Ж. Леметр).

Конечная цель развития законности в России, где самодержавие само собой исчезнет в твердости общего порядка — не только не противно воле самодержца русского, но составляет самую настоящую цель всех его трудов и забот о благе и устройстве государственном (И. Киреевский).

Русский простолюдин рад учиться у немца, чтобы быть умнее, однако же лучше хочет быть глупым, чем немцем. Русский образованный класс рассуждает иначе: он лучше хочет быть глупым ничтожеством, чем быть похожим на русского (И. Киреевский).

Русский человек не мог бы согласиться с цельностью своего воззрения на жизнь особой наукой о богатстве (политэкономии) (И. Киреевский).

Русский человек больше золотой парчи придворного уважал лохмотья юродивого (И. Киреевский).

Резкая особенность русского характера заключалась в том, что всё честолюбие частных лиц ограничивалось стремлением быть правильным выражением основного духа общества (И. Киреевский).

Русская интеллигенция есть группа, движение и традиция, объединяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей (Г. Федотов).

Здесь купечество с равной готовностью жертвовало на богадельни, театры, и на партию большевиков (Г. Федотов).

Спасти правду социализма правдой духа, и правдой социализма спасти мир (Г. Федотов).

Россия есть несовершенный процесс исторического творчества, а не готовый его продукт (А. Белый).

Именно в произведениях русской культуры рождается искомая нами реальная Россия, но как предвестие, как давно ожидаемое чаяние, не как реальность (А. Белый).

Русский демократизм был антилиберален, а либерализм — антидемократичен (И. Пантин).

Если в России частная собственность так легко, почти без сопротивления, была сметена вихрем социалистических страстей, то только потому что сами ограбляемые собственники втайне были убеждены в нравственной справедливости целей социалистов (С. Франк).

У нас нет демократии именно потому, что нет согласной воли встроиться в общественно принятый порядок (В. Библихин).

Без военно-монашеской закваски всё на Восточноевропейской равнине обречено на смуту и свалку (В. Биbihин).

Русский человек ставит себя в ситуацию всегда предельную, выход из которой — всегда радикальный (В. Биbihин).

Шарил в мягкой пустоте, стараясь нащупать, где же стены у русской культуры (О. Мандельштам).

Странное пространство, где зло может размахнуться как нигде, не видя понятных ему противников и потому до времени не замечая, что его власть давно тайно отменена. Страна до краев полна присутствием погибших, молча ушедших (В. Биbihин).

Наша судьба, пока мы остаемся сами собой, снова подставляя плечи под самую тяжелую ношу в мире, иначе мы потеряем себя (В. Биbihин).

Вражда с правительством, недоверие ему возникали чаще, когда правительство не ставило народу сверхзадач (В. Биbihин).

Молодая русская промышленность, как старая дева, все еще скрывает свои годы, жалуется на свою неопытность и слабость, много требует и мало дает (В. Шулятиков).

Россия покровительница и предводительница, но не владычица: мать, а не госпожа (Ф. Достоевский).

Власть в России на деле безбожна (Ф. Тютчев).

Русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному (Ф. Тютчев).

Нашим собственным умственным будущим служил Запад. Россия же, единственно фактом своего существования, отрицала будущее Запада (Ф. Тютчев).

Если бы Фурье пожил у нас, то не написал бы своей системы гармонизации страстей, зане в страсти лени, в страсти ничегонеделания он бы нашел такой элемент, который уничтожил бы все другие (В. Одоевский).

Православно верующий может заразиться неверием, но не может естественным развитием разума прийти к неверию. Он увлекается неверием, а не убеждается им (И. Киреевский).

Принимая чужие нравы и обычаи, русский человек не изменяет своего образа мыслей, но ему изменяет. Чтобы сделаться образованным, ему прежде нужно сделаться более или менее отступником от своих внутренних убеждений (И. Киреевский).

У нас главная сила веры заключается не в расчетливом избрании выгоднейшего для жизни, но в убеждении, заключающемся вне обычного логического процесса (И. Киреевский).

Религиозный авторитет в высшем смысле — не ограничение, а восполнение самодержавной власти (Вл. Соловьев).

Мы, православные — буквально консерваторы «идеала симфонии» (А. Карташев).

Мне стало больно не за русских и их безграмотную простоту, а за греков и их грамотное незнание (К. Леонтьев).

Западу на Востоке быть нельзя, и солнце не может закатываться там, где оно восходит (М. Погодин).

Всякий шаг, который мы делали по пути европеизма, более и более приближал нас к нашему народному сознанию (К. Леонтьев).

Дух нашего народа есть христианско-человеческий (К. Аксаков).

Мы — центр в человечестве европейского полушария, море, в которое стекаются все понятия. Когда оно переполнится истинами частными, тогда потопит свои берега истиной общей (А. Хомяков).

Оторвать корень правительства от корня народного и пересадить его на другую, искусственно созданную почву — об этом могут помышлять только или враги правительства и России, или те близорукие друзья его, для которых наше прошедшее непонятно, настоящее мертво, а будущее страшно (Ю. Самарин).

В среднем веке было у нас то, о чем так старался Запад уже в новое время, не успел еще в новейшем, и едва ли может успеть в будущем (М. Погодин).

Даже господствующая обличительная литература есть извращенный, изуродованный вид того же русского смирения, которое не терпит, по существу своему, никакой похвалы (М. Погодин).

В основе русской истории лежит мир, а не война; в принятии христианской веры господствовало согласие, а не насилие, как на Западе (М. Погодин).

Вот Аксаков говорит всё о «внутренней правде», присущей русскому человеку, и о том, что за внешней правдой он не гонится и договора не признаёт. А я скажу, что если он не признаёт договора и внешней правды не любит, так надо за это сечь! (А. Фет).

Умирать (на поле брани) мы умеем как русские, но мы не умеем жить как русские (И. Аксаков).

Вера у нас греческая издавна, государственность со времен Петра — почти немецкая, общественность — французская, наука — до сих пор общеевропейского духа (К. Леонтьев).

Люди русские, действительно, весьма оригинальны психическим темпераментом нашим, но никогда действительно оригинального, поразительно-примерного вне себя создать до сих пор не могли (К. Леонтьев).

Для нас всегда моральность выше легальности, душа дороже формальной организации, в которую мы никогда и не полагаем эту душу (П. Астафьев).

Государственное начало в России оказалось самобытнее свободно-общественного (К. Леонтьев).

Он (русский мужик) не образован, но он развит (А. Герцен).

Мы превзошли всех в желчном и болезненном самоуничижении, не имеющим ничего, заметим, общего с христианским смирением (К. Леонтьев).

В деле умственного образования мы гораздо универсальнее наших западных соседей (П. Астафьев).

Особенность русского народного духа — теплота внутренней жизни и ее интересов рядом с неспособностью и несклонностью ко всяким задачам внешнего упорядочивания жизни (П. Астафьев).

По духу русского языка сознание связано с отрицательным отношением к себе, о самоосуждении (Вл. Соловьев).

Соборность есть высший вид стадности: стадность не механическая, но органическое соединение людей (Вал. Муравьев).

Русь мыслила себя святой, ибо всем жертвовала ради кажущейся правды (Вал. Муравьев).

Русскому интеллигенту всегда всего труднее было на что-нибудь решиться, и он чрезвычайно охотно обращается к подымающимся внутри него нравственным недоумениям (С. Котляревский).

В России имеет культурную будущность только то, что церковно (конечно, самом обширном смысле этого понятия) (С. Булгаков).

Вопрос об интеллигенции и духовных ее судьбах принадлежит воистину к числу проклятых вопросов русской жизни (С. Булгаков).

Между Пушкиным и большевиком больше таинственной, иррациональной, органической связи, чем между ним и чаадаевствующими ныне от растерянности (С. Булгаков).

Растерзано русское царство, но не разодран его нетканый хитон (С. Булгаков).

Пусть в нашем народе зверство и грех, но в своем целом он никогда не принимает, не примет и не захочет принять своего греха за правду (Ф. Достоевский).

Россия сразу куда-то ушла, скрылась в четвертое измерение, и остались одни провинциальные народности, а русский народ представляет лишь питательную массу для разных паразитов (С. Булгаков).

Русская военная мощь, как и русская государственность, связана со своей интеллектуальной формой и основана на вере, а не на воле народной и разных там измышлениях (С. Булгаков).

Россия изменила своему призванию, стала его недостойна, и падение ее было велико, как велико было и призвание (С. Булгаков).

Русская борьба с антихристом есть всегда уход, переживание ужаса (Н. Бердяев).

(Русская интеллигенция) вела процесс против истории как против совершающегося над ней насилия (Н. Бердяев).

Русский человек склонен все переживать трансцендентно, а не имманентно (Н. Бердяев).

Русский человек не чувствует себя в достаточной степени нравственно вменяемым. Моральная настроенность русского человека характеризуется не здоровым вменением, а болезненной претензией (Н. Бердяев).

Социализм у нас распространяется преимущественно от сентиментальности (Ф. Достоевский).

Для русских социализм и есть религия, а не политика, не социальное реформирование и строительство (Н. Бердяев).

Сознание его (русского революционера) апокалиплично, он хочет завершения истории и начала процесса сверхисторического, в котором осуществится царство равенства, свободы и блаженства на земле (Н. Бердяев).

Русские сплошь и рядом бывают нигилистами — бунтарями из ложного морализма (Н. Бердяев).

Специфический талант русского религиозного сознания — жить внутренне праведно в оболочке греха (С. Аскольдов).

В России всегда осуществлялся подвиг братского замещения греха одних смирением, терпением других (С. Аскольдов).

Своеобразный талант православия состоял в преобладании религиозного чувства над религиозной волей (С. Аскольдов).

И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!
О, недостойная избранья,
Ты избрана!

(А. Хомяков)

В русском человеке как типе наиболее сильными являются начала святое и звериное. Ангельская природа, поскольку она мыслится сохранившей в себе первобытную невинность, во многом гораздо ближе и родственнее природе зверя, чем человека. Именно русский человек, сочетавший в себе зверя и святого по преимуществу, никогда не преуспевал в этом среднем и был гуманистически некультурен на всех ступенях своего развития (С. Аскольдов).

Странно, что Россия одна имеет как будто бы привилегию пробуждать худшие чувства европейского сердца (А. Хомяков).

В нас живет желание человеческого сочувствия; в нас беспрестанно говорит теплое участие к судьбе нашей иноземной братии (А. Хомяков)

Вместе с расширением территории в России всё более и более стеснялась свобода наиболее трудящейся части населения (В. Ключевский).

Страх контрреволюции, отравивший русскую революцию, и придает революционным дерзаниям хлестаковский характер (Н. Бердяев).

Гоголя ужаснула и ранила эта нераскрытость в России человеческой личности, это обилие элемента злых духов природы вместо людей (Н. Бердяев).

Разрыв с прошедшим и раздор с современным лишают нас большей части Отечества (А. Хомяков).

Раболепные подражатели в жизни, вечные школьники в мысли, они (ура-патриоты) в своей гордости, основанной на вещественном величии России, напоминают только гордость школьника-барчонка перед бедным учителем (А. Хомяков).

Тяжело налегло на нас просвещение или, лучше сказать, знание (ибо просвещение имеет высшее значение), которое мы приняли извне (А. Хомяков).

Нам возможнее даже, чем западным писателям (по крайней мере, по части исторических наук) обобщение вопросов, выводы из частных исследований и живое понимание минувших событий (А. Хомяков).

Анализ без глубины и важности, безнадежный скептицизм в жизни, холодная и жалкая ирония, смеющаяся над всем и над собою в обществе — таковы единственные принадлежности той степени просвещения, которой мы покуда достигли (А. Хомяков).

Разрыв между ее (России) самобытною жизнью и ее прививным просвещением (А. Хомяков).

Русское студенчество — это духовное казачество (В. Розанов).

Крепкие идейные семьи в России были пока только среди славянофильского дворянства (А. Изгоев).

Нигде в России нет столь незыблемо-устойчивых традиций, как в том все-российском духовном монастыре, который образует русская интеллигенция (С. Франк).

Мы можем определить русского интеллигента как воинствующего монаха нигилистической религии земного благополучия (С. Франк).

Русский интеллигент, будучи социальным реформатором, вместе с тем и прежде всего — монах. Он любит нищих телом и духом не только как несчастных — он любит их как идеальный тип людей. Он хочет сделать народ богатым, но боится самого богатства как бремени и соблазна; он мечтает доставить власть народу и боится прикоснуться к власти, считает власть злом (С. Франк).

Культ опрощения есть не специфически-толстовская идея, а некоторые общие свойства интеллигентского умонастроения, логически вытекающие из нигилистического морализма (С. Франк).

Утилитарная вера, которую исповедует русский интеллигент — полнейшее истребление и изгнание идеальных запросов во имя цельности и чистоты моралистической веры (С. Франк).

Ценности теоретические, эстетические, религиозные не имеют власти над сердцем русского интеллигента, всегда приносятся в жертву моральным ценностям (С. Франк).

Нет на Западе того чувствилища, которое представляет собой интеллигенция (П. Струве).

До рецепции социализма в России русской интеллигенции не существовало, был только «образованный класс» и разные в нем направления (П. Струве).

Исторически, веками слагавшаяся власть должна была пойти насмарку тотчас после сделанной ей уступки, в принципе решавшей вопрос о русской конституции (П. Струве).

Наша национальная литература останется областью, которую интеллигенция не может захватить (П. Струве).

Я боюсь, что у русской литературы одно будущее — ее прошлое (Е. Замятин).

Идейной формой русской интеллигенции является ее отщепенство, ее отчуждение от государства и враждебность к нему (П. Струве).

Да, наш народ спит. Но мне сдается, если что его разбудит — это будет не то, что мы думаем (И. Тургенев).

В лучшем случае в суде присяжных у нас видели суд совести в смысле пассивного человеколюбия, а не деятельного правосознания (Б. Кистяковский).

Наша интеллигенция всецело проникнута своим интеллигентским бюрократизмом (Б. Кистяковский).

Чрезвычайно характерно, что наряду со стремлением построить сложные общественные формы исключительно на этических принципах наша интеллигенция обнаруживает поразительное пристрастие к формальным правилам и под-

робной регламентации, в этом случае она проявляет особенную веру в статьи и параграфы организационных уставов (Б. Кистяковский).

Мы не хотим свободы, если она, как в Европе, только увеличит наш вековой долг народу (Н. Михайловский).

Широки природы русские:
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал.
(Б. Алмазов)

В России позади видимого правительства не стоит его идеал — государство невидимое, апофеоз существующего порядка вещей (А. Герцен).

Русский, какого бы звания он ни был, обходит или нарушает закон всюду, где это можно сделать безнаказанно, и совершенно так же поступает правительство (А. Герцен).

В идейном развитии нашей интеллигенции, поскольку оно отразилось в литературе, не участвовала ни одна правовая идея (Б. Кистяковский).

Как ни велик был у нас разгул делячества и карьеризма — он никогда не был освящен в теории. В этом коренное отличие нашей интеллигенции от западной (М. Гершензон).

Силу художественного гения у нас почти безошибочно можно было измерять степенью его ненависти к интеллигенции (М. Гершензон).

Русский интеллигент — прямой потомок крепостника-вольтерьянца (М. Гершензон).

Петровская реформа научила сознание праздному обжорству истиной (М. Гершензон).

Русский интеллигент — это прежде всего человек, с юных лет живущий вне себя (М. Гершензон).

Наша интеллигенция, почти поголовно стремящаяся к соборности человеческого существования, по своему укладу представляет собой нечто антисоборное, ибо имеет в себе разъединяющее начало героического самоутверждения (С. Булгаков).

Партийные программы в России — это идейный монолит, который можно только или принять или отвергнуть (С. Булгаков).

Интеллигенция стала по отношению к русской истории и современности в позицию героического вызова и героической борьбы (С. Булгаков).

Разрывается связь времен в русском просвещении, и этим разрывом духовно больна наша Родина (С. Булгаков).

В русском атеизме больше всего поражает его догматизм — то, можно сказать, легкомыслие, с которым он принимается (С. Булгаков).

Христианские черты, воспринятые иногда помимо ведома и желания, просвечивают в духовном облике лучших и крупнейших деятелей русской революции. Тем не менее, известно, что нет интеллигенции более атеистической, чем русская (С. Булгаков).

Известная неотмирность, эсхатологическая мечта о грядущем царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами) и затем стремление к спасению человечества — если не от греха, то от страданий, — составляет непрменные и отличительные особенности русской интеллигенции (С. Булгаков).

Потребность русской интеллигенции в органическом соединении «правды-истины» и «правды-справедливости» (Н. Бердяев).

Русским свойственно принижение разумного начала (Вл. Соловьев).

Русская интеллигенция дорожила свободой и исповедовала философию, в которой нет места для свободы и личности. Это почти сплошная, выработанная нашей историей, аберрация сознания (Н. Бердяев).

Конкретный идеализм, связанный с реалистическим отношением к бытию, мог бы стать основой нашего национального философского творчества (Н. Бердяев).

Русская философия таит в себе религиозный интерес и примиряет знание и веру (Н. Бердяев).

Интересы теоретической мысли у нас были принижены, но самая практическая борьба со злом всегда принимала характер исповедания отвлеченных теоретических учений (Н. Бердяев).

В России философия экономического материализма превратилась в классовую пролетарскую мистику (Н. Бердяев).

Мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человечества, ни к Западу, ни к Востоку. Мы растем, но не зреем, идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели (П. Чаадаев).

Знание как повод для гордыни: русский, если что знает, то делается педантом (Н. Гоголь).

По чувствам останусь республиканцем, и в то же время верным подданным русского царя (Н. Карамзин).

Для русского человека всё европейское имеет таинственное обаяние (В. Боткин).

Критика культуры вообще — русский руссоизм (В. Зеньковский).

Русская мысль сплошь историософична, она постоянно обращена к вопросам о «смысле» истории, конце истории и т. п. (В. Зеньковский).

У русских две родины: Россия и Европа (Ф. Достоевский).

Сострадание по-русски — это не деятельная гуманитарная форма филантропии. Это сочувственное разделение вместе со страждущим братом несомого им креста долготерпения (А. Карташев).

Не наша любовь к Богу интересуется русскую душу, а любовь Божия к нам (А. Карташев).

Русскому не надо было исканий Августина, мук Лютера и героизма Кальвина, чтобы познать всю глубину откровения Павла о спасении только благодатью, даром даруемого за веру (А. Карташев).

Русский не дерзнет в своем аскетическом самоосуждении просто предстать перед Праведным Судией: он ищет заступника (А. Карташев).

Русскому благочестию присуще особо острое ощущение Бога в материи, но это исключает пантеизм, всякую автоматическую «повсюдность» Божества. Божественные «энергии» обитают лишь в душах и вещах облагодатствованных — это не пантеизм как данное, а пантеизм как должное. Это задание для христиан и для церкви, чтобы собрать «всё-в-Бог» и уготовать подвигом благочестия пути вселения «Бога-во всё» (А. Карташев).

Раскол — это несравнимая, математически несоизмеримая форма переживания христианского откровения, особый мистицизм, которого не знают другие народы (А. Карташев).

Русский человек не любит в одиночестве подходить к Богу — это ему кажется ложным героизмом и гордостью (А. Карташев).

Нигде, особенно на Западе, христианская эсхатология так не близка, так не свойственна христианскому благочестию, как в России (А. Карташев).

Склонность к крайностям, трагическая «широта» русского характера, которая пугала самого Достоевского, эта стихийность и страстность, не сдерживаемая достаточной волей и дисциплиной (А. Карташев).

В русской интеллигенции рационализм сознания сочетался с исключительной эмоциональностью и слабостью самоценной умственной жизни (Н. Бердяев).

Вся русская история обнаруживает слабость самостоятельных умозрительных интересов (Н. Бердяев).

Интеллигенция осталась староверческой и народнической в европейском одеянии марксизма (Н. Бердяев).

Наша интеллигенция умудрялась даже самым практическим интересам придавать философский характер (Н. Бердяев).

Консерватизм и косность в душевном укладе у нас соединялись со склонностью к новинкам, к последним европейским течениям, которые никогда не усваивались глубоко (Н. Бердяев).

Византийская теократия не смогла удержаться на высоте своего сверхрасового, сверхэтнического универсализма и превратилась в эллинский максимализм. Русская теократия уже по самому своему возникновению должна была привести к русскому мессианизму (А. Шмеман).

В том, что Византия и Русь пытались сколько-нибудь охристианить государство — в этом их заслуга и оправдание (А. Карташев).

Русское самосознание от самих пелен своих как-то сразу вознеслось на свою предельную высоту (А. Карташев).

Идеал Святой Руси, объемлющий Россию и Русскую Церковь (А. Карташев).

Если изумительны дарования русского духа, то страшны его провалы (В. Зеньковский).

Россия есть великий цельный Востоко-Запад по замыслу Божьему и есть неудавшийся и смешанный Востоко-Запад по фактическому своему состоянию (Н. Бердяев).

Русский народ своими добродетелями отрешен от земли (Н. Бердяев).

Россия никогда окончательно не выходила из средневековья, из сакральной эпохи (Н. Бердяев).

Русский человек сочувствует всему человеческому вне различия национальностей, крови и почвы, у него инстинкт общечеловечности (Ф. Достоевский).

Какой истинно русский не думает прежде всего о Европе? (Ф. Достоевский).

Русская мысль завещает будущему лишь самую задачу и путь к ее решению (В. ЭРН).

У нас личность, одаренная инстинктом правды, способна к гораздо большей широте и смелости, чем европейский человек — именно потому, что над ней нет истории (Н. Михайловский).

Мы успели вдоволь насмотреться на чужую историю и можем вести свою собственную вполне сознательно — преимущество, которым ни один народ до сих пор не пользовался (Н. Михайловский).

Кажется, только по-русски истина и справедливость называются одним и тем же словом — правда — и как бы сливаются в одно великое целое (Н. Михайловский).

Русский народ отрицает собственность самую прочную — земельную (Л. Толстой).

Исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному (Л. Толстой).

Политика православного духа должна быть предпочтена политике славянской плоти. Панславизм неизбежен, но панславизм православный есть спасение, а панславизм либеральный есть гибель России (К. Леонтьев).

Чисто славянское содержание слишком бедно для всемирного духа России (К. Леонтьев).

Призвание России — примирить односторонность Востока и Запада, претворить духовное богатство того и другого в одно великое целое (И. Аксаков).

Ежели бы стечение обстоятельств привело к единству (со всеми славянами), оно будет на гибель для России (имп. Николай I).

Народ русский для нас больше, чем родина (А. Герцен).

Герцен являет нам довольно частый тип русского интеллигента, лишенного веры, но не утерявшего духовной зрелости (В. Зеньковский).

Русская интеллигенция любила не современную, действительную Францию, а Францию идеальную, воображаемую (П. Анненков).

Славянофилы в своем развитии формировались не антизападнически, а вне-западнически (В. Зеньковский).

Я думаю, что мы пришли после других, чтобы сделать лучше их (П. Чаадаев).

В славянофильстве собственно антизападничества почти не было — оно постоянно смягчалось христианским универсализмом славянофилов (В. Зеньковский).

Основной пафос славянофильства лежит в чувстве найденной точки опоры — в сочетании национального сознания и правды Православия (В. Зеньковский).

Зачем пророчествует одна только Россия? Затем, что она сильнее других слышит Божию руку на всем, что ни сбывается в ней и чувствует приближение иного царствия (Н. Гоголь).

Восток, православный в богословии и неправославный в жизни (Вл. Соловьев).

Стать настоящим русским, стать вполне русским значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите (Ф. Достоевский).

Мы, русские — наследники целого мира (В. Белинский).

Существует народ, которого естественное влечение — всеобъемлющая многосторонность духа (В. Одоевский).

Один русский ум может соединить хаос европейской учености. На Западе науки, вместо того чтобы стремиться к единству, раздробились в прах летучий, общая связь их потерялась (В. Одоевский).

Русская публика готова простить писателю плохую книгу, но никогда не простит ему злойредной книги (В. Белинский).

У нас в особенности награждается общим вниманием всякое т. н. либеральное направление, даже и при бедности таланта (В. Белинский).

Русского человека до тех пор не заставишь говорить, пока не рассердишь его (Н. Гоголь).

Нас привела к абсурду наша нелепая бестолковая подражательность (Ф. Тютчев).

В России всякое духовное благо оценивается не по существу, а сообразно с характером и направлением идеологии (Д. Овсяннико-Куликовский).

Народ не требовал, чтобы государь спрашивал его мнения. Государь не опасался спрашивать мнения народа (И. Аксаков).

Россия — целый мир, единственный в своем основном и духовном начале и более искренне-христианский, чем Запад (Ф. Тютчев).

Возбужденное войной патриотическое чувство, защитившее внешнюю независимость русской земли, еще не доросло до притязаний на ее духовную независимость (И. Аксаков).

«Патриотизм», в котором никогда в России не было недостатка, именно-то в России вовсе и не означает ни уважения, ни даже простого сочувствия к русской народности. Отстаивая с беспримерным мужеством политическое существование русского государства, патриотизм не выдерживал столкновения с нравственным натиском Западной Европы, охраняя целостность внешних пределов, трусливо пасовал и поступался русской национальностью в области бытовой и духовной (И. Аксаков).

Ничто так не балует и не губит людей в России, как именно эта талантливость, упраздняющая необходимость усилий и не дающая укорениться привычке к упорному, последовательному труду (И. Аксаков).

В России господствует не сама философия, а квазифилософское вольнодумство — дух философии (И. Аксаков).

На долю литературной поэзии, при слабом воздействии у нас науки, досталось высокое призвание быть почти единственной воспитательницей русского общества в течение довольно долгой поры (И. Аксаков).

И другой стране смиренной,
Полной веры и чудес,
Бог отдал судьбу Вселенной,
Меч земли и гром небес
(А. Хомяков)

Основание, на котором воздвигается прочное здание русского просвещения — это вера православная, которой, слава Богу, и по особому чувству правды, никто еще не называл религией (ибо религия может соединять людей, но только вера связует людей не только друг с другом, но еще и с ангелами и с самим Творцом людей и ангелов (А. Хомяков).

Живя за границей, тошнит по России, а не успеешь приехать в Россию, так уж тошнит от России (А. Тургенев).

Не житье на Руси людям прекрасным, одни только свиньи там живущи (Н. Гоголь).

Все стараются быть более монархистами, чем царь (П. Вяземский).

Здесь каждый бунт кажется законным, даже бунт против разума (А. де Кюстин).

Народ не освятил добровольным участием и согласием никакого существенного нарушения своего внутреннего строя, не уложился ни в одну заготовленную форму заграничного изделия — и этим своим безучастием, бездействием, этой благодетельною неподвижностью, так часто осмеянную и непонятую, спас себя и нас (И. Аксаков).

Россия — страна футуризма. Здесь нет ужасного гнета прошлого, под которым задыхаются страны Европы (Ф. Маринетти).

Мы имеем дело с Россией: нигде размахи политического маятника не могут быть так безмерны (Н. Устрялов).

НЭП — это диктатура коммунистов в фактически буржуазной стране (Н. Устрялов).

Хамство — энергия безвкусного глупца — погубит Россию (М. Врубель).

Реформа Петра Великого, давая нам средства для самоутверждения, не открывала нам конечной цели нашего национального существования (Вл. Соловьев).

Русский народ не пойдет за теми людьми, которые называют его святым только для того чтобы помешать ему быть справедливым (Вл. Соловьев).

Если русскому народу суждено получить значение в будущих судьбах человечества, то лишь как носителю великой истины — взаимного дополнения духовных личностей, нравственного единения всех людей (Н. Грот).

Двойным путем вела его судьба —
Она и в имени его — двуглава:
Пусть slavus — раб, но Славия есть Слава,
Победный нимб над головой раба!
(Макс. Волошин)

Великая русская равнина — исконная страна бесноватости (Макс. Волошин).

Нам нужна не столько свобода политических действий, сколько свобода от политических действий (Макс. Волошин).

Тончайшею из всех зараз —
Мечтой врачует мир Россия —
Ты, погибавшая не раз
И воскресавшая стихия!
(Макс. Волошин)

России душу омрачая,
Враждуют призраки, но кровь
Из ран ее течет живая
(Макс. Волошин)

Русская революция — это исключительно нервно-религиозное заболевание (Макс. Волошин).

Россия — социально наиболее здоровая из европейских стран — совершает в настоящий момент жертвенный подвиг, принимая на себя примерное заболева-

ние социальной революцией, чтобы, переболев ею, выработать иммунитет и предотвратить смертельный кризис болезни в Европе (Макс. Волошин).

В русской революции прежде всего поражает ее нелепость. В России нет ни аграрного вопроса, ни буржуазии, ни пролетариата в точном смысле этих понятий. Между тем именно у нас борьба между этими несуществующими величинами достигает высшей степени напряженности и ожесточения (Макс. Волошин).

Бороться с монархией интеллигенция могла только в ограде крепких стен, построенных самодержавием. Строить стены и восстанавливать их она не умела: она готовилась только к тому, чтобы их расписывать и украшать (Макс. Волошин).

Русская интеллигенция выкристаллизовалась из смеси наиболее живых элементов дворянства и разночинцев, привлеченных Петром Первым к государственной службе. В правление Александра I и Александра II власть поссорилась с дворянством и отвергла интеллигенцию. Таким образом, именно тот класс народа, который был вызван самой монархией для государственной работы, был ею же отвергнут. Правительство, перестав следовать исконным традициям русского самодержавия, само выделило из себя революционные элементы и вынудило идти против себя (Макс. Волошин).

Главной чертой русского самодержавия была его революционность. В России монархическая власть во все времена была радикальнее управляемого ею общества и всегда имела склонность производить революцию сверху, стараясь административным путем перекинуть Россию на несколько веков вперед согласно идеалам прогресса своего времени (Макс. Волошин).

Русское общество, уже много десятилетий живущее ожиданием революции, приняло внешние признаки (падение династии, отречение, провозглашение республики) за сущность события и радовалось симптомам гангрены, считая их предвестниками исцеления (Макс. Волошин).

Русское освобождение погублено русским народничеством (Е. Трубецкой).

Патриоты находят нужным замалчивать все то, что в нас есть худого, чтобы не изобличить Россию перед иностранцами (Н. Гоголь).

Русское христианство — это христианство апокалиптических откровений с его прозрением в тайну человека, обожженного во Христе и потому уже не могущего умереть (Е. Трубецкой).

Присущий нашему национальному характеру максимализм заставляет нас во всех жизненных вопросах ставить дилемму «или всё, или ничего». Вот почему от чрезмерности возвеличения мы так легко переходим к чрезмерности отчаяния (Е. Трубецкой).

Наш национальный мессианизм выражает пожелания, чтобы наша мать Россия сидела в Царстве Божиим по правую руку от Спасителя (Е. Трубецкой).

Русским ближе христианство Обломова (Е. Трубецкой).

Русский национальный мессианизм всегда выражался в утверждении русского Христа, в более или менее тонкой русификации Евангелия (Е. Трубецкой).

Храм Христа Спасителя — это как бы огромный самовар, вокруг которого благодушно собралась патриархальная Москва (Е. Трубецкой).

Наш солдат добр до чрезвычайности (А. Дружинин).

Опасность для России и для всего мира — тем больше, что современный хаос осложнен и даже как бы освящен культурой (Е. Трубецкой).

Основная идея древнерусского искусства — победа Богочеловека над зверочеловеком (Е. Трубецкой).

Судьбы Петровой России находятся в руках интеллигенции (С. Булгаков).

Положение русской интеллигенции среди страны и народа было поистине сходно с положением греческой Кассандры, которая предвидела будущее, но никого не могла убедить в его неизбежном наступлении (Н. Гредескул).

Мы хороший социальный материал, которому, однако, недостает склонности к самодеятельности. Мы социально доверчивы, но и социально бескорыстны (Н. Гредескул).

Мы, русские, несколько пассивны, мы не любим лезть вперед, неохотно берем на себя ответственность и руководящую роль в событиях, но мы хорошо понимаем всю необходимость социального порядка, поэтому мы склонны помогать, а не вставлять палки в колеса тем, кто так или иначе порядок устанавливает (Н. Гредескул).

Идея русской интеллигенции — не только народничество, но и народолюбие, может быть, даже народопоклонство (Н. Гредескул).

Миросозерцание русской интеллигенции всегда было цельным, глубоким, органическим, по своему типу почти религиозным (Н. Гредескул).

Мысль, направляющая и организующая весь остальной багаж русской интеллигенции, есть мысль о народе, но не о народе как о нации, и тем менее как о нации, организованной в государство, а о народе как подчиненной массе — в противоположность господствующим классам общества (Н. Гредескул).

Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1949 году: стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науке и искусству и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества (В. Белинский).

Россия составляет пробел в нравственном миропорядке (П. Чаадаев).

Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью (К. Аксаков).

Запад, переходя из состояния рабства в состояние бунта, принимает бунт за свободу, хвалится ею и видит рабство в России (К. Аксаков).

Вы хотите принуждением, силою сделать из немцев русских. С мечом в руках, как Магомет. Но мы этого не сделаем именно потому, что мы христиане (имп. Николай I — славянофилам).

Фашизм есть рецидив язычества, а в большевизме нельзя не заметить подспудного действия неиссякаемых христианских энергий (Н. Устрялов).

Европа шла культурой огня, а мы в себе несем культуру взрыва (Макс. Волошин).

Внешняя правда — Государство, внутренняя правда — Земля, неограниченная власть — царю, свобода слова и мнения — народу (И. Аксаков).

Едва ли существует народ, способный вынести большую долю свободы и имеющий меньше склонности злоупотреблять ею, чем народ русский (Н. Данилевский).

Русскому человеку свойственна святость, но чужда честность (К. Леонтьев).

Только в России возможна смесь барского самодурства и ультракрайнего радикализма (Г. Вырубов).

Вера всё равно что талант: с нею надо родиться, эта способность присуща русским людям в высочайшей степени (А.П. Чехов).

Современное поколение в России примет всякую власть, которая обеспечит ей минимум свободы — не политической, а гражданской: бытовой, хозяйственной, культурной (Г. Федотов).

Россия — страна, взволнованная социальной борьбой, но лишенная политических страстей (Г. Федотов).

Дворцы Петергофа — красноречивые, но лживые свидетели имперской славы. На фоне грубоватой повседневности и технических достижений — утонувшая империя будет с каждым годом подниматься со дна царскосельских озер. В этот императорский Китеж будут жадно вглядываться тысячи юношей, мечтающих о небывалой России (Г. Федотов).

Без внутреннего приобщения христианству невозможно никакое истолкование русской национальной идеи (Г. Федотов).

В полусвободной «советской общественности» заключается огромное преимущество коммунизма, по сравнению с классической неуклюжестью полицейского государства (Г. Федотов).

Лишь в христианстве возможно парадоксальное равенство: часть равна целому. И лишь в православии — конечно, в возможности — даны предпосылки соборной общественности (Г. Федотов).

Время славянофильствует в том смысле, что русская идея всечеловечности загорается небывалым светом над потоком всемирных событий (В. ЭРН).

Тяготение, простиравшееся далеко за пределы материальных ценностей и создавшее для русской литературы возможность свободно витать в мире духовном, где нет никаких ограничений между веками или народами, где человечество едино (из послания английских писателей, 1914г).

Проницательные русские относились к Европе с внутренним антиномизмом. И любили, и ненавидели, и признавали и отрицали в одно и то же время (В. ЭРН).

Таинство русской жизни творится в безмолвии (В. ЭРН).

Самый глубинный пафос (русской культуры) — пафос утверждения трансцендентизма, пафос онтологических святынь и онтологической Правды (В. ЭРН).

Денационализация предприятий ни в коем случае не означает их реституции как акта восстановления справедливости. Государство не ворует, и конфискации революционного правительства в той же мере легальны, как, скажем, захват удельных и боярских вотчин великим московским князем (Г. Федотов).

Россия потеряла так много, что предъявление счетов нации было бы актом национально позорным (Г. Федотов).

Не с чисто хозяйственной, но с национальной точки зрения, либеральная экономическая политика в России была бы опасна (Г. Федотов).

Россия поставлена историей перед необходимостью предельного напряжения своих производительных сил (Г. Федотов).

Ленинизм практически воспитывает в России работников капиталистического накопления (Г. Федотов).

Святые миряне, столь характерные для русской святости (Г. Федотов).

Русская земля ныне благочестием всех одоле (прп. Иосиф Волоцкий).

Дело всех людей, всех народов решается собственно у нас, а не на Западе (А. Хомяков).

Русский народ и русское общество во всех слоях своих способно принять и выдержать всякую дозу свободы (Н. Данилевский).

Простота, добро и правда нам милы и дороги сами по себе, все равно, победят они или нет (Н. Страхов).

Чтобы русскому народу действительно надолго пребыть тем «народом богоносцем», он должен быть ограничен, привинчен, отечески и совестливо стеснен (К. Леонтьев).

Самовар и раскаяние — вот русский девиз (А. Рошфор).

Мы были совершенно согласны лично претерпевать всякие невзгоды и всё это ради возможности непосредственного перехода к лучшему, высокому порядку, минуя среднюю стадию европейского развития, стадию буржуазного государства (Н. Михайловский).

Мы представляем собой народ, который, так сказать, прикомандирован к цивилизации (Н. Михайловский).

Капитализм нам напоминает своими проявлениями анекдот о том мужике, который, получив власть, рассчитывал украсть сто целковых и убежать (Н. Михайловский).

Как, по-вашему, царь был коллективистом? А он ведь всегда писал: мы, Николай Второй (В. Маяковский).

Самой глубокой чертой нашего исторического облика является отсутствие свободного почина в нашем социальном развитии (П. Чаадаев).

Есть великие народы которые нельзя объяснить нормальными законами нашего разума, но которые таинственно определяет верховная логика Провидения: таков именно наш народ (П. Чаадаев).

Мы самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великим трибуналами человеческого духа и человеческого общества (П. Чаадаев).

Славянофильство есть русское донкихотство (Д. Писарев).

Наше общинное устройство, хотя в существе своем совершенно просто, но в применении к делу чрезвычайно разнообразно (А. Кошелев).

Пороки крестьянства и старого купечества были пороками личными; национально, в смысле общего типа, оба эти сословия были почти всегда безукоризненны (К. Леонтьев).

На великое явление Петра народ ответил не менее великим явлением Пушкина (В. Белинский).

Когда же щи и солянки перестанут быть национальной формой русской литературы? (М. Левилов).

Мы переживаем за человечество — и человечество переживает в нас великий кризис (Вяч. Иванов).

Петр Великий варварством победил русское варварство (К. Маркс).

А чем же, кроме «обжигания горшков», занимается современный русский человек? (М. Салтыков-Щедрин).

Антитеза богатства наших идеологий и нашей всероссийской отсталости (Д. Овсяннико-Куликовский).

Посмотри на русского человека: найдешь его задумчива. Бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обгаренной кровию от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории российской (А. Радищев).

Политика у нас в России не имеет смысла, ею могут заниматься только пустые головы (В. Белинский).

Ни одному из христианских европейских народов не свойственны соблазны такого самоотрицания, как русским (А. Карташев).

Иди, куда хочешь, во все стороны, воля вольная, только никуда не дойдешь: это наше многостороннее бездействие, наша деятельная лень (А. Герцен).

Всякая система в хорошем и дурном смысле этого слова — не русская вещь (И. Тургенев).

И на последнем листе повторится то же, что было сказано на первом. Страшная эпоха для России, в которой мы живем, и не видать никакого выхода (А. Герцен).

Если вы станете действовать и проповедовать, то прежде всего заметят в ваших руках эти заздравные кубки, до которых такой охотник русский человек, и перепьются все, прежде чем узнают, из-за чего было пьянство (Н. Гоголь).

«Вперед!» — словцо, которого жаждет повсюду всех сословий, званий и промыслов русский человек (Н. Гоголь).

Обломовка есть наша прямая родина (Н. Добролюбов).

Обломовщина — не только квиетизм, она есть такое состояние психики, при котором человек не страдает от того, что общественная стоимость не осуществилась. Где чувство личной общественной стоимости заменяется классовым самочувствием и в то же время нет способности к классовой борьбе (Д. Овсяннико-Куликовский).

Наш национальный фатализм — волевого происхождения, он — не теория, не верование, а умонастроение, которое может прилаживаться к каким угодно теориям, верованиям, воззрениям (Д. Овсяннико-Куликовский).

Глупов, милый Глупов! Подойдешь к тебе поближе, вкусишь винограда твоего — тошнит: чувствуешь, как въяве дураком делаешься, уйдешь от тебя — плачешь (М. Салтыков-Щедрин).

Мыслящее общество в России жило ускоренною жизнью, догоняя, а иногда даже опережая мыслящую Европу (Д. Овсяннико-Куликовский).

Я и люблю, и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину (И. Тургенев).

Иные молодцы даже русскую науку открыли: у нас, мол, дважды два тоже четыре, да выходит оно как-то бойчее (И. Тургенев).

Нам во всём и всюду нужен барин. И кто палку взял, тот и капрал (И. Тургенев).

Русский мужик бога слопаёт (русская пословица).

Не недостаток способности к мечте является характерною чертою русской национальной психики, а только — реализм художественной мысли и самой мечты (Д. Овсяннико-Куликовский).

Русский человек только тем и хорош, что сам о себе прескверного мнения (И. Тургенев).

Русские священники, диаконы, причетники — представители православного пролетариата. У них нет собственности (Журнал «Современник», 1863 г.).

Русский крестьянин — высший тип личности на низшей ступени развития (Н. Михайловский).

Огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива, и могуча в несчастьях, до тех пор молода душою, мужественно-сильна и по-детски кротка, покуда над ним царит власть земли (Гл. Успенский).

Есть нечто в русской жизни, что выше общины и государственного могущества; это нечто трудно уловить словами, и еще труднее указать пальцем (А. Герцен).

В этом отсутствии лжи, проникающем собой все, даже, по-видимому, жестокие явления народной жизни, и есть то наше русское счастье (Гл. Успенский).

Русский человек совсем не любит оригинальничать и еще менее любит «сидеть не в свои сани». Напротив, он и свои-то «сани» охотно готов уступить первому встречному. Но он чувствует неудержимо стремление постоянно становиться на ходули, постоянно казаться не тем, что он есть на самом деле (П. Ткачев).

Однородное стомиллионное племя, живущее какой-то сплошной жизнью и только в сплошном виде доступное пониманию (Гл. Успенский).

В русском народе нужно уметь отвлекать красоту от наносного варварства (Ф. Достоевский).

Нет такого подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подл и мерзок (Ф. Достоевский).

В нашем дилетантизме гораздо ярче, чем в европейском, выражен момент эпикурейства, эстетизма (Д. Овсянико-Куликовский).

Прошлое России было восхитительно, ее настоящее более чем великолепно; что касается ее будущности, то она превосходит всё, что самое смелое воображение может представить себе. Вот та точка зрения, с которой следует понимать и писать русскую историю (А. Бенкендорф).

Илья Муромец сидел все на печи, ел, пил и спал, да думал крепкую думушку — пока не ударил час его жизни. Тогда он встал, и земля задрожала под его ногами (Г. Елисеев).

Психологическая религиозность — только необходимое до поры орудие самосохранения, которым интеллигенция обороняется от уныния, от одиночества, от распада в пустыне всероссийской некультуры (Д. Овсянико-Куликовский).

Читая официальные отчеты о всех этих верноподданнических «излияниях», «колелопреклонениях», «лизаниях», становится стыдно и гадко называться русским (П. Ткачев).

Извращая и искажая нравственную природу человека, страх является в то же время одною из самых могучих и непоколебимых опор самодержавной власти полицейско-буржуазного государства (П. Ткачев).

Русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности, но когда конец положит своему терпению, то никто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость (А. Радищев).

Философия явилась в России очень рано, и явилась не сама, а по нашему усерднейшему приглашению (Г. Елисеев).

Неудача революции принесла интеллигенции почти всю ту пользу, которую могла принести ее удача (М. Гершензон).

Отщепенство в русской интеллигенции сплошь и рядом было плодом не ослабления, а усиления веры (П. Милюков).

Политика представляется нам ремеслом вроде конокрадства (П. Милюков).

Прежде чем пропагандировать миру наше «общечеловеческое», мы хотим его предварительно культивировать в самих себе (П. Милюков).

Война 1812 г. — первая пуническая война Европы с Россией (Ф. Тютчев).

Две язвы разъедают народный характер России — это неверность и легкомыслие (Ж. де Местр).

Официальная Россия утратила всякий смысл и чувство своего исторического предания (Ф. Тютчев).

В этом мире византийско-русском, где жизнь и верослужение составляют одно — в этом мире столь давнем, что даже Рим в сравнении с ним пахнет новизной (Ф. Тютчев).

Все эти министерства, парламенты суды — только узоры на пестром плаще, заброшенном над бездной подземных народных инстинктов (Л. Гроссман).

Большинство слишком благородно, чтобы воспользоваться своим численным превосходством. Мир не господин, а любящий отец, одинаково благодетельный ко всем своим сынам (С. Степняк-Кравчинский).

Показательное явление: когда люди ставят над собой государя, которому приписывают чуть ли не божественные свойства, им удается, сковывая его инициативу невидимыми цепями, почти свести на нет его власть самой неумеренностью своего поклонения (С. Степняк-Кравчинский).

Россия находится в состоянии внутренней войны, и полиция, будучи оплотом одной из воюющих сторон, не защищает, а сражается (С. Степняк-Кравчинский).

Я считаю советский период вершиной Российской истории (А. Зиновьев).

Пуускай яростный некий завоеватель истребит даже имя любезного твоего отечества — но доколе слово российское ударять будет слух, ты жив будешь и не умрешь (А. Радищев).

К несчастью, русские люди обыкновенно ждут благоприятных обстоятельств, чтобы высказать свои взгляды, вместо того чтобы самим создавать эти обстоятельства (С. Степняк-Кравчинский).

Чувство глубокого отчуждения от официальной России (А. Герцен).

Я человек русский, и жизнью обучился думать, а не думаю жил (А. Герцен).

Всё от равнодушия. У нас почти нет инквизиции из убеждений (А. Герцен).

Русский, развивающийся до всеобщих интересов, готов схватиться за всякий вздор, лишь бы заглушить в себе пустоту (А. Герцен).

Для истории Советской власти время еще не настало, а интересует нас настоящее и будущее (В. Ленин).

Все, кто знакомы с нашей литературой, согласятся, что самой характерной и примечательной ее чертой являются не разрушительные идеи (С. Степняк-Кравчинский).

Англичанин в таких случаях сказал бы: «Она (свобода) мне нужна, поэтому я постараюсь ее добиться». Русский народник говорит: «Она мне нужна, поэтому я откажусь от нее» (С. Степняк-Кравчинский).

В такой стране, как Россия, где закон насилует правосудие и правосудие пренебрегает законом, не может быть никакого соглашательства (С. Степняк-Кравчинский).

Духовенство в Восточной церкви составляет особое наследственное сословие, а в западной — нет. А дворянство — наоборот: в славянских государствах оно восполняется из всех сословий, на Западе же — это особое почти неприступное сословие (М. Погодин).

Соловьев и Толстой — два чудотворные философа. Один, ничему не уча, стал учителем; другой, ничему не участь, стал ученым (В. Ключевский).

Русский образованный человек не может быть необразованным в душе: Бог нужен ему как городской на улице (В. Ключевский).

Суворов превратил армию из стреляющей машины в нравственную силу, духовно сплоченную со своим вождем (В. Ключевский).

Англичанин совсем не умеет приходить в энтузиазм, как есть народы, которые не умеют петь. Русский энтузируется тоже по-своему: в такие минуты русская женщина ударяется в слезы, мужчина впадает в грусть (В. Ключевский).

Нравственное богословие цепляется за хвост русской беллетристики (В. Ключевский).

Смеется над русским народом как петровским подкидышем европейской цивилизации (В. Ключевский).

Смертию смерть поправ — это русский писатель, который воскресает только по смерти. Готов служить делу свободы, но не хочет быть ее холопом (В. Ключевский).

Двумя страстями был одержим русский народ: религиозным фанатизмом и патриотическим пылом, и церковь была одновременно и воплощением и выразителем этих страстей (С. Степняк-Кравчинский).

Суд с его церемонностью и помпой не более как дань, уплачиваемая русским деспотизмом современной цивилизации (С. Степняк-Кравчинский).

Русское правительство можно уподобить лавочнику, который, выставив в витрине товары с виду хорошего качества, постепенно заменяет их протухшими продуктами (С. Степняк-Кравчинский).

Чтобы защищать отечество от врагов, Петр опустошил его больше всякого врага. Понимал только результаты и никогда не мог понять жертв (В. Ключевский).

Русские цари — не механики при машине, а огородные пугала для хищных птиц (В. Ключевский).

Неудачное самодержавие перестает быть законным. Правление, сопровождающееся Нарвами без Полтав, есть нонсенс (В. Ключевский).

Мы умно спрашиваем и глупо отвечаем. Мы — музыканты, отвыкшие играть вследствие привычки размышлять о музыке (В. Ключевский).

В истории русской жизни есть столько и таких нетронутых вопросов, что затронуть их составит славу тех, кто их только затронет, хотя и не решит (В. Ключевский).

Раскол расшевелил спавший мозг русского человека (Н. Костомаров).

Народ стал за старину, потому что там, в этой старине, он видел волю и простор (А. Пругавин).

Народ отвертывается от школы точно так же как отвернулся он от церкви. И там и здесь он видит лишь мундир, схоластику и педантизм (А. Пругавин).

В русском народе ни одно начало не высказывалось точно определенными выражениями, катехизисами и символами веры — у нас всегда были безотчетные стремления, которых мы не умеем высказать, но за которые умели страдать (В. Кельсиев).

Староверы ухитрились найти «число зверино», т. е. имя антихриста, в слове «хозяинъ» (Неделя, 1880, №28).

Тебе по сердцу «просветление», мне — административное воздействие, но и в том и в другом случае, в конце концов, все-таки прозревается военная экзекуция (М. Салтыков-Щедрин).

Ежели мы, русские, вообще имеем довольно смутные понятия об идеалах, лежащих в основе нашей жизни, то особенной безалаберностью отличается отношение к одному из них, и самому главному — к государству (М. Салтыков-Щедрин).

(Русская общественная мысль) вызывалась не ростом общественного сознания, не внутренней потребностью размышления, а механическими, внешними толчками (В. Ключевский).

Мы встретили книжную мудрость, как встречают желанную, но слишком высокую гостью — с растерянной приветливостью и удрученным смирением. Как взглянул русский разумный и понимающий человек на просвещенный мир сквозь привозные книги, так и впал в крайнее уныние от собственного недостойнства, от умственного и правового убожества (В. Ключевский).

Два соседние века поссорились, и из древней и новой России вышли не два смежные периода нашей истории, а два враждебные склада и направления нашей жизни. Старое получило значение национального, самобытного, русского, а новое — значение иноземного, чужого (В. Ключевский).

Мы точно с таким же правом называем себя членами государства, с каким пустосвяты называют себя людьми религии (М. Салтыков-Щедрин).

Ленин, как врач, слушал сердце народа,
И, как поэт, слышал дыханье его.
(И. Сельвинский)

Сама, как русская природа,
Душа народа моего:
Она пригреет и уroda,
Как птицу, выходит его.
(И. Сельвинский)

Ваше императорское величество! Русский народ настой из лошадиного навоза пьет и покоряет сердце Европы за полтора рубля с огурцами! Больше я ничего не смею сказать. (А. Ремизов).

Только с просветленными глазами, только с детской народной мудростью можно войти в царство «Святой Руси» и уверовать в его высшую реальность (Иванов-Разумник).

Анархизм есть ужасное русское слово, русский ответ на вопросы западно-европейской культуры. Это мы не заимствовали у Европы, это мы дали Европе (Д. Мережковский).

Натура нервная, я принял глубоко
Всё, чем в России год усобиц был утробен.
В чужих краях меня загрызла до психоза
Тоска по родине.

(Вл. Пяст)

Белинский весьма непочтительно возвращал Егору Федоровичу (Гегелю) билет на право входа во вселенскую гармонию (Иванов-Разумник).

Вся русская гуманистическая литература вышла из гоголевской «Шинели» (Ф. Достоевский).

Иван Карамазов со своими запросами был неуместен в эпоху судебных реформ и дарвинизма (Иванов-Разумник).

Русскому человеку, вкусившему от плодов просвещения, по-видимому, свойственно неудержимое стремление выставлять свои знания напоказ в назидание невеждам, не заботясь о качестве преподносимой таким образом умственной пищи (П. Тихомиров).

Склонность русского человека до всего своим умом доходить (П. Тихомиров).

Россия всегда бродяжила и блудносыновствовала на путях своей тысячелетней культуры. Всегда она ругала отца и разоблачала мать (А. Волынский).

Дело самодержавия есть дело священное, братотворение через усыновление для исполнения долга душеприказчества, а душеприказчество и есть сущность самодержавия (Н. Федоров).

В кровообращение русской души Армения не вошла ни единым шариком (А. Волынский).

Индивидуализм русского народа всегда пребывал в звериной стадии и был бесконечно далек от мечтательной гармонии и идеализированной солидарности (А. Вольтер). (А. Вольтер).

Россию можно проехать из конца в конец, не увидав ничего отличного от того места, из которого выехал. Всё плоско. Это путешествие по беспредельному пространству, измеряемое одним временем: зато и приносит плод свой, как время (Е. Баратынский).

Возможно ли забавляться такими детскими игрушками, как караулы застав, обыски, там, где каждая редакция, каждая школа, каждый чиновник — гнездо и сосуд коммунизма? (А. Фет).

К эпитету «милый» не мешает подразумевать и «ленивый». Видимо, у русских сферы этих понятий врезаются друг в друга (А. Фет).

Народ русский не признает двух правд. Если он признает правду Божию за правду, то другой у него нет. Пусть народ узнает в нашей мысли свою душу и в нашем совете свой голос (Вл. Соловьев).

Поэзия и философия для нее (русской публики) остаются вздором, и она на них нападает, чувствуя в них авторитет и не желая ему подчиняться (Н. Страхов).

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит Отчизны своей.
(Н. Некрасов).

Русское православное сознание, оставшееся в некотором удивительном согласии с духом первоначального христианства (П. Новгородцев).

Все эти понятия — любовь, соборность, целостность, вселенскость — для православного понимания однозначности, каждое вытекает из другого, все вместе содержатся в понятии любви во Христе (П. Новгородцев).

Россия только сверху набралась бессмысленной диалектики, а в сущности та же, что и при Гостомысле, Грозном, Михаиле. Нам без царя хуже, чем без хлеба (А. Фет).

Литература будет продолжать свое обычное всероссийское деление на людей честных — стреляющих и нечестных — стреляемых (А. Фет).

Всюду встретишь жестокую сцену—
Полицейский, не в меру сердит,
Тесаком, как в гранитную стену,
В спину бедного Ваньки стучит.
(Н. Некрасов)

Громаднейший запас истинного, глубокого и бескорыстнейшего патриотизма нужно иметь в себе, чтобы приносить пользу Родине, взявши на себя весь позор т. н. «нечистых средств» (С. Венгеров).

Велика и славна теперь по всему миру русская литература, и славна именно своею тоской по идеалам (С. Венгеров).

Гоголь был идеально бескорыстен и нравственно свободен, создавая свои крепостнические идеалы (С. Венгеров).

Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем дурном, что в ней делается (Н. Гоголь).

Монастырь наш — Россия! Облеките же себя умственной рясой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней (Н. Гоголь).

Отвращение к формам европейской гражданственности и культуры находит в себе двойное выражение: или мы, изнемогая от избытка добродетели, начинаем «вегетарианствовать» и вообще терять вкус жизни, или мы объявляем войну культуре во имя какого-то дикого разгула и нетерпеливой жажды все разрушить, все «послать к черту» (Г. Чулков).

Самой судьбой для русской музыки
Даны гоненья, скорби узы,
И без тернового венца
Что слава русского певца?
(П. Якубович)

Мы, русские, благодаря цензурному гнету, долго над нами тяготевшему, в особенности обладаем какой-то несчастной способностью проглатывания. Стоит только в надлежащем месте крикнуть, чтоб читатель подумал, что за этим криканьем таится и невесть какая ученая глубина (М. Салтыков-Щедрин).

О славных подвигах доблести, патриотизма, святости они (русские летописцы) выражаются с удивительной скромностью, как будто это были обыкновенные, ежедневные события русской жизни (Н. Надеждин).

Русский человек вообще неизобретателен. Но зато очень склонен к распространениям и и превеличениям (Н. Надеждин).

Народничество — славянофильский социализм (П. Аксельрод).

Русь нерусская видится мне диковинкою: как если бы родился человек с рыбьим хвостом или собачьей головою! (Г. Сковорода).

Мы действуем и ставим себе правила действия, справляясь не с историей, а со своею совестью (Н. Страхов).

Русский либерал — бессмысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче: солнце это — солнце Запада (П. Чаадаев).

В русском народе есть что-то неотвратимо неподвижное, безнадежно нерушимое — его полное равнодушие к природе той власти, которая им управляет (П. Чаадаев).

Народничество — это настроение (Н. Златовратский).

В России дышит всё военным ремеслом,
И ангел делает на караул крестом.
(А.С. Пушкин)

Идея самодержавия, по существу своему, не терпит никаких ограничений; она безусловна, как вообще все религиозные идеи (Д. Мережковский).

Уезжайте поскорее вглубь России — отдохнуть посреди благородных душ ревизских от духоты мертвых душ, управляющих живыми не краснея (И. Киреевский).

Русский удельный князь воплощает в себе не столько начало власти, сколько начало служения, являясь прежде всего военным вождем местного мира (Г. Федотов).

Перевоспитать общество, оторвать его совершенно от вопроса политического и заставить его заняться самим собою, понять свою пустоту, свой эгоизм и свою слабость — вот дело истинного просвещения, которым наша Русская земля может и должна стать впереди других народов (А. Хомяков).

Понятия о русском царе и немецком направлении не могут связаться в уме русского народа (И. Киреевский).

Русский человек не научился ценить страдание, он воспринимает его силу, чувствует действенность и искупления и знает вкус его горькой сладости (П. Леруа-Болье).

После Никона в России больше не было церкви, там была религия государства (П. Паскаль).

На заре своего бытия Древняя Русь предпочла путь святости пути культуры (Г. Федотов).

Юродивый стал преемником святого князя в социальном служении (Г. Федотов).

Иван-дурак, несомненно, отражает влияние святого юродивого, как Иван-царевич — святого князя (Г. Федотов).

Видишь ли, самодержавне? Ты владеешь на свободе одною Русскою землею, а мне Сын Божий покорил за темничное сидение и небо и землю (протопоп Аввакум — царю Алексею Михайловичу).

Занеже люблю свой русский природный язык, виршами философскими не обыкл речи красить (протопоп Аввакум).

Ибо общественность там стоит на убеждениях, и потому всякие мнения, даже всеобщие, управляя ее развитием, были бы для нее смертоносны (И. Киреевский).

В устройстве русской общественности личность есть первое основание, а право собственности только ее случайное отношение. Общество слагалось не из частных собственности, но из лиц, которым приписывалась собственность (И. Киреевский).

Инициаторский характер русской литературной деятельности (М. Салтыков-Щедрин).

Литература наша — и это приносит ей величайшую честь — никогда не предавалась неправде сознательно; напротив того, она постоянно обнаруживала в этом отношении похвальную брезгливость (М. Салтыков-Щедрин).

История России, в особенности новейшей, есть история ее торжественных обедов (М. Салтыков-Щедрин).

Скандал у нас есть пока единственный двигатель мысли общественной и литературной (М. Салтыков-Щедрин).

(Славянофильство) стремится погрузить русский народ в состояние бессрочного детства (М. Салтыков-Щедрин).

Основная черта русского духа — терпение (К. Валишевский).

Другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы всё казалось обновленное, как будто и весь род русский только вчера насадка под крапивой вывела (Н. Лесков).

Мыслящий человек без определенных занятий в России подозрителен (приписывается А. Пушкину).

В России певец собственного недуга не может быть выразителем родовой судьбы (Е. Баратынский).

В России нет зрелости: мы или сохнем, или гнием (А. Пушкин).

Петр Великий много сделал и ничего не кончил (К. Батюшков).

Обычно сапожник, чтоб барином стать,
Бунтует — понятное дело.
У нас революцию делала знать —
В сапожники, что ль, захотела?

(Ф. Ростопчин, эпиграмма на декабристов)

Русский человек на том и стоит: где бедовое дело, тут-то и удаль свою показать (М. Загоскин).

Нет, любовь к Отечеству не земное чувство. Оно слабый, но верный отголосок непреодолимой любви к тому безвестному Отечеству, о котором, не постигая сами тоски своей, мы скорбим и тоскуем почти со дня рождения нашего! (М. Загоскин).

Выражением политических взглядов русского народа служит идеал самодержавия (А. Киреев).

Формула славянофильского самодержавия — много умов и одна воля. Формула «государство — это я» — самодержавие бюрократического типа (А. Киреев).

В мире религия начинается с ангелов, а в русской литературе — с Гоголя и Лермонтова (П. Перцов).

Пафос Гоголя не гражданский, а пророческий. Его пафос — насилие пророка над миром (П. Перцов).

Россия ощущается как не выразившийся еще, не определившийся вовне религиозный потенциал — единственный в мире (П. Перцов).

Во всяком периоде нашей истории мы разрывали с предыдущим — и разрыв, который нам предстоит теперь, есть, без сомнения, разрыв с Западом (В. Розанов).

Не с рубанком и пушками и не с замыслом только государственной идеи, но с каким-то новым чувством, выросшим в глубинах совести, будущий вождь нашего народа, отряхнув прах прошлого со своих ног, поведет его к новой задаче исторического созидания (В. Розанов).

У нас не любят никаких форм, которые теснят воображение, тяготят ум (В. Розанов).

Русский народ спасается своим безмерным терпением, безграничным самопожертвованием (Н. Страхов).

Как и лучшие русские люди, он не осознавал своего истинного призвания и места (В. Ходасевич о Тютчеве).

Русские художники работают, исполненные какой-то религиозной боязни отступить от правды. Можно поравняться с ними в правдивости, но превзойти их невозможно (Н. Страхов).

Всё русское — дым (И. Тургенев).

В русском характере лежат какие-то непримирённые требования, какие-то одно другому противоречащие стремления (Н. Страхов).

Православие есть сущность русской народности (И. Аксаков).

Избави нас Бог от множества обруселых католиков и обруселых евреев и дай нам Господи побольше православных ляхов и православных израильтян! (К. Леонтьев).

Мы действуем лучше, чем мыслим, а мыслим нередко всё-таки много смелее и яснее, чем пишем (К. Леонтьев).

В том царская его заслуга пред Россией,
Что царь, он верил сам в устои вековые,
На коих зиждется Российская земля.
(Ап. Майков)

Русские — индивидуалисты шепотом, а американцы — во весь голос. Русские — это индивидуалисты-накопители, а американцы — индивидуалисты-предприниматели (М. Анчаров).

Замечательно, что волны русской истории вообще поднимаются не более двух раз в столетие (М. Меньшиков).

«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет». Ни у одного народа история не начинается с анархии, как у нас (М. Меньшиков).

По равнодушию к своей судьбе мы заняли худшие места земли, брошенные другими народами (М. Меньшиков).

Весь вопрос русской жизни в нравственном удовлетворении (М. Меньшиков).

Россия слишком исстрадалась по молодому счастью, и когда оно пришло, она встречает его тяжелым вздохом (М. Меньшиков).

У нас поэзия расы вылилась в святость, в какое-то сложное состояние, где есть красота, но красота чувств, где есть сила, но сила подвига, где есть и знание, но знание, похожее на провидение, на мудрость пророков и боговидцев (М. Меньшиков).

Биография (по русскому обычаю) забыта еще прежде, чем была достаточно изучена (М. Меньшиков).

Родила Россия песню
И от песни родилась.
(Р. Казакова)

Герой у нас обозначает не личность, а момент стихийного действия (М. Пришвин).

В «браке на неизвестной» — характерная черта народа русского. Этою чертой бывает окрашена и любовь некоего интеллигента к неизвестному, безликому образу (М. Пришвин).

Трудно русскому держаться на злобе и недоверии, утомительно (М. Пришвин).

Русского человека отделяет от религии ложь ее представителей (М. Пришвин).

Удел русского интеллигента: за китайской стеной религии, отделяющей народ от общения с ним, питаться крошками, падающими со стола европейской учености и безверия (М. Пришвин).

Личное творчество русским народом рассматривается как общее благо. У нас индивидуализм используется администрацией, разлагающей естественное стремление общественности (к объединению) (М. Пришвин).

В России самое главное, что люди живут без памяти добра и зла, и весь строй общественный стоит на кумовстве (М. Пришвин).

Земля наша производит чиновников и, не получая удобрений, истощается. «Удобрением» я называю просвещение народа (М. Пришвин).

Пока в России что сделаешь — мозоли набьешь на душе (М. Пришвин).

Русские — сила бессознательная, и вещи наши на место не расставлены. Когда нам улыбается счастье, мы готовы верить в свое бессознательное. Когда неудача, мы взываем к порядку (М. Пришвин).

Кому на Руси жить хорошо? У кого нет дел с настоящим, кто будущим живет — тому хорошо (М. Пришвин).

Черта русского народа: самохвальство при удаче, источник которого — самопрезрение в простом бытии (М. Пришвин).

Когда умерла старая Россия, кинулись все наследники (мужики и рабочие) делить землю, захватывать капитал. Умерла она скоропостижно, без завещания (М. Пришвин).

Большевики — это люди обреченные. Они ищут момента дружно умереть и в ожидании этого в будничной жизни бесчинствуют (М. Пришвин).

Сила русского человека проявляется в тот момент, когда начинается жертва. А жертва сладость свою теряет, если нет суда (М. Пришвин).

Народ наш русский сладко нес свою жертву и не спрашивал, какой у нас царь. Дело было не в моральных свойствах царя, а в пути и в сладости жертвы (М. Пришвин).

Правда большевизма состоит в том, что они нарушили в России равновесие гражданского безразличия, и каждый почувствовал на себе бремя родного безвластия. Большевизм есть паразит обывателя (М. Пришвин).

Сны ужасные, быстрые, с подвижностью мчащегося урагана бывают за то, что тело человека лежит почти в могильной неподвижности. Не за это ли нам, всем русским, больше всех народов досталось это ужасное время, что столетия мы спим неподвижно? (М. Пришвин).

Русская интеллигенция Толстым, народниками и славянофилами воспитывалась в религиозном благоговении к простому народу в его деле добывания хле-

ба на земле. Чтобы спасти народ и поднять его, нужно дать ему сознание всеобщего личного участия в делах жизни — это и делала церковь (М. Пришвин).

Для этого времени нужно отрезать русскому человеку пуп от Бога, потому что это не Бог, которому мы молимся, а кум наш (М. Пришвин).

Как слепые, идем мы по пути, создавая из привычки бога, пока этот бог не обольет нас своими вонючими помоями, и, очнувшись, мы не восстанем на судьбу свою (М. Пришвин).

Русский человек избегал власти, отстранялся от нее, и если соприкасался с нею, то погибал (М. Пришвин).

Комиссар — момент соприкосновения варяжской идеи порядка с многими карманами и русской чубастой удалью (М. Пришвин).

Вся революция русская имеет ценность лишь в доведении до абсурда (М. Пришвин).

Привык русский человек молиться Богу в далеком монастыре, а свой близкий монастырь — да кто ж не знает, что в близких монастырях Бог не живет! (М. Пришвин).

Разбитый скипетр самодержавия, как разбитое зеркало, осколком своим попал в наши сердца, и мы видим в осколках этих искаженное отражение мира (М. Пришвин).

Завет революции: мщение всем, кто знал благо на родине (М. Пришвин).

Родина — место, где мы родились; Отечество — родина, мною осознанная (М. Пришвин).

Спеленали вонючими пеленками жизнь, не нашлось у нас чистых пеленок. Русская жизнь... (М. Пришвин).

Григорий Распутин был орудием мести протопопы Аввакума царю Алексею и сыну его Петру: был Распутин царем, а царь Николай Второй — его рабом (М. Пришвин).

Русский человек отпускается самими революционерами в тот момент, когда он становится художником. Он не он лично, а существует как представитель будущей совершенной во всех отношениях среды. А художник испытывает счастье лично в себе и в данный момент жизни, он есть существо лично реализованное (М. Пришвин).

Из чего складывается счастье русского: первое, что можно куда-то уйти — уехать постранствовать — это тяга к пространству Руси необъятному; и другая половина счастья — вернуться к себе в тишину и засесть на добрые дела — тяга к уюту (М. Пришвин).

Отвергают Бога у нас обыкновенно недоучки и дети, начавшие проходить естествознание (М. Пришвин).

Я такой русский человек, который пропьет, променяет и растащит всю свою родину, а европейская святыня, чуждая ему, но отдаленно-прекрасная — на нее не посягнет (М. Пришвин).

Старая государственная власть была делом зверя во имя Божие; новая власть (большевиков) является делом того же зверя во имя человека (М. Пришвин).

Московия не имеет очертаний и остается как категория пространства и стремления к расширению (М. Пришвин).

Чувство родины в России сильнее, чем в Европе, а Отечества — нет (М. Пришвин).

Никогда на Руси не могли и никому не удастся собрать человека, как собирали земли цари (М. Пришвин).

Потерялся в полях русского окаянства (М. Пришвин).

Русский человек власти чурается, и если сам попадет в капралы, то становится хамом (М. Пришвин).

Тут все знают, что идеалы пишутся линючими красками и что это дело господское: «Ленин и Столыпин, — скажут, — в одном университете учились» (М. Пришвин).

Молот, серп — читай наоборот — «престолом» закончится гражданская война (М. Пришвин).

Никакая «положительная» деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, из-за которой стоило бы лишиться покоя (М. Пришвин).

Вне обломовщины и максимализма не было морального существования в России, разве только приблизительное (М. Пришвин).

Покой у нас в церкви, движение в нигилизме. Не могут все быть Обломовыми, не могут все быть нигилистами, потому средний человек должен быть мошенником. Наша страна — страна плутов по преимуществу (М. Пришвин).

Злые почти все таланты; добрые не хитры, не изобретательны, любят меру жизни, покой и — застаиваются. Так, добрые русские люди застоялись, их вышибло из рутины, и они, сознав весь ужас застоя, бросились с удесятеренной силой работать. Пробужденные, они скоро увидят в своих пробудителях дармоедов и спихнут их в яму (М. Пришвин).

Два разных мира: европейские рабочие, верящие в русскую легенду, и мы, жертвы, от которых, дымясь, расходятся на весь мир легенды (М. Пришвин).

Любовь, долг и труд создавали раньше в нас это чувство уюта и привязанности к Родине (М. Пришвин).

Отмена крепостного права не спасла Россию: в сущности, даже нет черты, за которой можно было бы считать начало новой формы русской истории (М. Пришвин).

Лень, которую Гончаров внешне порицает в Обломове и тайно прославляет как животворящее начало (М. Пришвин).

Похороны — красивейший обряд русского народа, и славен русский народ только тем, что умеет умирать (М. Пришвин).

Истории русского народа нет: русский народ остается в своем быту неизменным — но есть история власти над русским народом и тоже есть история страдания сознательной личности (М. Пришвин).

Когда ссорятся, бесятся, даже дерутся двое-трое русских людей — то это вовсе не значит, что кто-нибудь из них дурной человек; нет, если смотреть на них как на одно существо в разных лицах, а так вообще нужно смотреть на человека, то это не злоба, не война, это скорбь одного существа так проявляется: человек скорбит (М. Пришвин).

Существующее положение: организация воров и разбойников, отстаивающих самобытность России (М. Пришвин).

Есть такой на Руси человек, влюбленный в ту сторону прошлого, где открыты ворота для будущего (М. Пришвин).

На земле советской больше нет окраин,
Мы живем, мы строим в центре всей земли.
(Е. Долматовский)

Нам нужна, как воздух, правда
В жизни, в лозунге, в искусстве:
Каждый должен сверить совесть
С чистотою Октября.
(Ф. Лаубе)

Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы,
Одно лишь «Господи помилуй!»
И вера в праведность судьбы.
(Ник. Мельников)

Не разлучают километры
Того, кто Родиной живет!
(В. Харитонов)

Характерной чертой русской бюрократии является ироничное отношение к самой себе (М. Салтыков-Щедрин).

Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления (М. Салтыков-Щедрин).

В России без казенной службы прожить нельзя: непременно что-нибудь такое сделаешь, что вдруг очутишься сосланным в Сибирь (М. Салтыков-Щедрин).

У Достоевского был первостепенный талант, но только он в своих произведениях отдал его на служение и восхваление самых уродливых тенденций (М. Салтыков-Щедрин).

Вся Россия, ничем другим не занимающаяся, кроме «терпеливого перенесения бедствий настоящего» (М. Салтыков-Щедрин).

В нашем обществе человек, ищущий справедливости, находит одно из двух: или ров львиный, или прелесть сиренскую (М. Салтыков-Щедрин).

Насчет вина свободно, а насчет чтений — строго за ум взялись! (М. Салтыков-Щедрин).

Увы! Я не англосакс, а славянин. Историки удостоверяют, что славяне исстари славились гостеприимством. Я люблю всякого странника угостить. И ежели под видом странника вдруг окажется разбойник, то я и тут не стушуюсь: возьми всё — и отстань! Всё равно, как обездолит меня странник: приставши ли с ножом к горлу или разговаривая по душе. Только пусть он спрячет свой нож, пусть объедает и оппивает меня по душе. Греха меньше (М. Салтыков-Щедрин).

Я остаюсь при своем славянском гостеприимстве и ничего не понимаю, кроме разговора по душе со всяким встречным, не исключая человека, который вот-вот сейчас начнет меня облапошивать (М. Салтыков-Щедрин).

Русские поговорки тем именно и хороши, что служат прекраснейшею для всех случаев лазейкою (М. Салтыков-Щедрин).

Судьба каждого из государств европейских зависит от совокупности всех других, судьба России зависит только от одной России (И. Киреевский).

Мы улепетываем назад быстрее, чем когда-либо шли вперед. Дивная, чудная земля! (А. Герцен).

Если возможно счастье, видение рая на земле — грядет оно лишь из России
(Б. Зайцев).

Коммунизм есть русская судьба (Н. Бердяев).

Может ли быть такое дело, как всероссийское восстановление, иным,
как только «чрезвычайным»? Думать иначе было бы унижительно для России
(А. Карташев).

Ты теряешь, родная, последние силы.
Мы уже не спасем тебя, не укрепим.
Мы пришли попрощаться с тобою, Россия,
С бледным небом твоим, с черным хлебом твоим.
...вот мы все собрались на последней платформе.
Осквернен наш язык... Уничтожен наш труд.
Только там, под землю, останутся корни.
Может быть, сквозь столетья они прорастут.
(Н. Добронравов)

**ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ПЕРСОНАЛИИ**
(В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ)

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРСОНАЛИИ

Аввакум (1620–1682) — протопоп, священномученик старообрядческой церкви
Аксаков, Иван Сергеевич (1823–1886) — поэт, публицист
Аксаков, Константин Сергеевич (1817–1860) — поэт, историк, публицист
Аксаков, Сергей Тимофеевич (1791–1859) — писатель и критик
Аксельрод, Павел Борисович (1850–1928) — революционер
Алмазов, Борис Николаевич (1827–1876) — поэт и критик
Анненков, Павел Васильевич (1813–1887) — критик и мемуарист
Анчаров, Михаил Леонидович (1923–1990) — поэт, писатель, художник
Аскольдов, Сергей Алексеевич (1871–1945) — философ
Астафьев, Петр Евгеньевич (1846–1893) — философ и публицист

Бакунин, Михаил Александрович (1814–1876) — революционер и философ
Балашов, Дмитрий Михайлович (1927–2000) — писатель и филолог
Бальмонт, Константин Дмитриевич (1867–1942) — поэт
Баратынский, Евгений Абрамович (1800–1844) — поэт
Батюшков, Константин Николаевич (1787–1855) — поэт
Белинский, Виссарион Григорьевич (1811–1848) — критик и публицист
Белый, Андрей (1880–1934) — поэт, писатель, критик
Бенкендорф, Александр Христофорович (1782–1844) — шеф жандармов
Бердяев, Николай Александрович (1874–1948) — философ
Библихин, Владимир Вениаминович (1938–2004) — философ и филолог
Боткин, Василий Петрович (1812–1869) — критик и очеркист
Брежнев, Леонид Ильич (1906–1982) — государственный деятель
Булгаков, Сергей Николаевич (1871–1944) — философ, богослов

Венгеров, Семен Афанасьевич (1855–1920) — историк литературы и критик
Веневитинов, Дмитрий Владимирович (1805–1827) — поэт
Вишня, Алексей Федорович (1964) — поэт и музыкант
Вознесенский, Андрей Андреевич (1933–2010) — поэт
Волошин, Максимилиан Александрович (1877–1932) — поэт и критик
Волинский, Аким Львович (1863–1926) — искусствовед и критик
Врубель, Михаил Александрович (1856–1910) — художник
Вырубов, Григорий Николаевич (1843–1913) — философ, социолог
Вышеславцев, Борис Петрович (1877–1954) — философ
Вышинский, Андрей Януарьевич (1883–1954) — юрист, дипломат
Вяземский, Петр Андреевич (1792–1878) — поэт и публицист

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРСОНАЛИИ

Гайдар, Аркадий Петрович (1904–1941) — писатель и сценарист
Герцен, Александр Иванович (1812–1870) — революционер, философ, публицист
Гершензон, Михаил Осипович (1869–1925) — публицист и переводчик
Глазков, Николай Иванович (1919–1979) — поэт
Гоголь, Николай Васильевич (1809–1852) — писатель и драматург
Гончаров, Иван Александрович (1812–1891) — писатель и критик
Горин, Григорий Израилевич (1940–2000) — писатель и драматург
Градский, Александр Борисович (1949–2021) — поэт и музыкант
Грановский, Тимофей Николаевич (1813–1855) — историк
Гредескул, Николай Андреевич (1865–1941) — правовед и публицист
Гроссман, Леонид Петрович (1888–1965) — писатель
Грот, Николай Яковлевич (1852–1899) — философ и психолог
Гумилев, Лев Николаевич (1912–1992) — историк и философ
Гуревич, Арон Яковлевич (1924–2006) — историк и культуролог
Гуревич, Яков Григорьевич (1841–1906) — историк и педагог

Дангулов, Савва Артемьевич (1919–1989) — писатель, драматург, журналист
Данилевский, Николай Яковлевич (1822–1885) — социолог и публицист
Дербенев, Леонид Петрович (1931–1995) — поэт
Добролюбов, Николай Александрович (1836–1861) — поэт и публицист
Добронравов, Николай Николаевич (1928) — поэт
Долматовский, Евгений Аронович (1915–1994) — поэт
Достоевский, Федор Михайлович (1821–1881) — писатель
Дружинин, Александр Васильевич (1824–1864) — писатель и критик

Евтушенко, Евгений Александрович (1932–2017) — поэт
Елисеев, Григорий Захарович (1821–1891) — критик и публицист

Загоскин, Михаил Николаевич (1789–1852) — писатель
Зайцев, Борис Константинович (1881–1972) — писатель и переводчик
Замятин, Евгений Иванович (1884–1937) — писатель и публицист
Зеньковский, Василий Васильевич (1881–1962) — философ и богослов
Зиновьев, Александр Александрович (1922–2006) — писатель
Златовратский, Николай Николаевич (1845–1911) — писатель
Злобин, Степан Павлович (1903–1965) — писатель и поэт

Иванов, Вячеслав Иванович (1866–1949) — поэт, философ и публицист
Иванов-Разумник, Разумник Васильевич (1878–1946) — писатель и критик

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРСОНАЛИИ

Изгоев, Александр Самойлович (1872–1935) — юрист и публицист
Ильенков, Эвальд Васильевич (1924–1979) — философ
Иоанн IV Грозный (1530–1584) — царь всея Руси
Исаковский, Михаил Васильевич (1900–1973) — поэт

Казакова, Римма Федоровна (1932–2008) — поэтесса
Карамзин, Николай Михайлович (1766–1826) — историк и писатель
Карташев, Антон Владимирович (1875–1960) — богослов и историк
Кассиан (Безобразов) (1892–1965) — епископ, богослов
Кассиль, Лев Абрамович (1905–1970) — писатель
Кельсиев, Василий Иванович (1835–1872) — революционер и писатель
Киреев, Александр Алексеевич (1833–1910) — публицист
Киреевский, Иван Васильевич (1806–1856) — философ и публицист
Кистяковский, Богдан Александрович (1868–1920) — философ и правовед
Ключевский, Василий Осипович (1841–1911) — историк
Костомаров, Николай Иванович (1817–1885) — историк, публицист, драматург
Котляревский, Сергей Андреевич (1873–1939) — историк, писатель, правовед
Кошелев, Александр Иванович (1806–1883) — публицист
Крапивин, Владислав Петрович (1938–2020) — писатель
Крелин, Юлий Зусманович (1929–2006) — врач и писатель
Кропоткин, Петр Алексеевич (1842–1921) — революционер и философ

Лавров, Петр Лаврович (1823–1900) — революционер, философ, социолог
Лаубе, Феликс Янович (1934–1996) — поэт
Левидов, Михаил Юльевич (1891–1942) — писатель и драматург
Ленин, Владимир Ильич (1870–1924) — вождь мирового пролетариата
Леонтьев, Константин Николаевич (1831–1891) — философ, дипломат, публицист
Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814–1841) — поэт, писатель, драматург
Лесков, Николай Семенович (1831–1895) — писатель и критик

Майков, Аполлон Николаевич (1821–1897) — поэт
Мандельштам, Осип Эмильевич (1891–1938) — поэт, переводчик, критик
Матусовский, Михаил Львович (1915–1990) — поэт и переводчик
Маяковский, Владимир Владимирович (1893–1930) — поэт и драматург
Мельников, Николай Алексеевич (1966–2006) — поэт
Меньшиков, Михаил Осипович (1859–1918) — публицист
Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1865–1941) — писатель и поэт
Милюков, Павел Николаевич (1859–1943) — историк и публицист

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРСОНАЛИИ

Михайловский, Николай Константинович (1842–1904) — социолог и публицист
Могильницкий, Борис Георгиевич (1929–2014) — историк и философ
Мокроусов, Борис Андреевич (1909–1968) — композитор
Муравьев, Валериан Николаевич (1885–1932) — философ

Надеждин, Николай Иванович (1804–1856) — философ и критик
Некрасов, Николай Алексеевич (1821–1878) — поэт и публицист
Никитин, Афанасий (14??–1474) — купец, путешественник
Николай I (1796–1855) — император всероссийский
Никольский, Константин Николаевич (1951) — поэт и музыкант
Новгородцев, Павел Иванович (1866–1924) — правовед, историк, философ

Овсяннико-Куликовский, Дмитрий Николаевич (1853–1920) — историк культуры
Одоевский, Владимир Федорович (1803–1869) — писатель и философ

Пантин, Игорь Константинович (1930) — философ и политолог
Пастернак, Борис Леонидович (1890–1960) — поэт и писатель
Перцов, Петр Петрович (1868–1947) — писатель и публицист
Пестель, Павел Иванович (1793–1826) — революционер
Петр I (1672–1725) — император всероссийский
Писарев, Дмитрий Иванович (1840–1868) — критик и публицист
Победоносцев, Константин Петрович (1827–1907) — правовед и публицист
Погодин, Михаил Петрович (1800–1875) — историк и публицист
Погодин, Николай Федорович (1900–1962) — драматург и сценарист
Пришвин, Михаил Михайлович (1873–1954) — писатель и публицист
Пругавин, Александр Степанович (1850–1920) — историк и публицист
Пушкин, Александр Сергеевич (1799–1837) — поэт, писатель, драматург
Пяст, Владимир Алексеевич (1886–1940) — поэт

Радищев, Александр Николаевич (1749–1802) — революционер, поэт, философ
Ремизов, Алексей Михайлович (1877–1957) — писатель
Рождественский, Роберт Иванович (1932–1994) — поэт
Розанов, Василий Васильевич (1856–1919) — философ и публицист
Ростопчин, Федор Васильевич (1763–1826) — государственный деятель и публицист
Русомиров, Нейрослав (1971) — поэт
Ряшенцев, Юрий Евгеньевич (1931) — поэт

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРСОНАЛИИ

Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович (1826–1889) — писатель, критик, публицист
Самарин, Юрий Федорович (1819–1876) — философ и публицист
Свенцицкий, Валентин Павлович (1881–1931) — богослов и публицист
Светлов, Михаил Аркадьевич (1903–1964) — поэт
Сельвинский, Илья Львович (1899–1968) — поэт
Сковорода, Григорий Саввич (1722–1794) — философ
Соловьев, Владимир Сергеевич (1853–1900) — философ и поэт
Соловьев, Сергей Александрович (1944–2021) — кинорежиссер
Сталин, Иосиф Виссарионович (1878–1953) — революционер, государственный деятель
Степняк-Кравчинский, Сергей Михайлович (1851–1895) — революционер, писатель, публицист
Страхов, Николай Николаевич (1828–1896) — философ и публицист
Струве, Петр Бернгардович (1870–1944) — философ, социолог, экономист
Суворов, Александр Васильевич (1729–1800) — полководец

Тендряков, Владимир Федорович (1923–1984) — писатель
Тихомиров, Павел Васильевич (1868–1937) — богослов и философ
Ткачев, Петр Никитич (1844–1886) — революционер и публицист
Толстой, Дмитрий Андреевич (1823–1889) — историк и государственный деятель
Толстой, Лев Николаевич (1828–1910) — писатель, философ
Трубецкой, Евгений Николаевич (1863–1920) — философ, правовед, публицист
Тургенев, Александр Иванович (1784–1845) — историк
Тургенев, Иван Сергеевич (1818–1883) — писатель, поэт, публицист
Тютчев, Федор Иванович (1803–1873) — поэт и переводчик

Успенский, Глеб Иванович (1843–1902) — писатель и публицист
Устрялов, Николай Васильевич (1890–1937) — философ и публицист

Федоров, Николай Федорович (1829–1903) — философ
Федотов, Георгий Петрович (1886–1951) — философ и историк
Фет, Афанасий Афанасьевич (1820–1892) — поэт и переводчик
Франк, Семен Людвигович (1877–1950) — философ

Харитонов, Владимир Гаврилович (1920–1981) — поэт
Ходасевич, Владислав Фелицианович (1886–1939) — поэт и критик
Хомяков, Алексей Степанович (1804–1860) — богослов, философ и публицист

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРСОНАЛИИ

Чаадаев, Петр Яковлевич (1794--1856) — философ и публицист
Чехов, Антон Павлович (1860–1904) — писатель и драматург
Чичерин, Борис Николаевич (1828–1904) — философ, правовед, историк
Чулков, Георгий Иванович (1879–1939) — литературный критик

Шестов, Лев Исаакович (1866–1938) — философ
Шмеман, Александр Дмитриевич (1921–1983) — богослов
Шулятиков, Владимир Михайлович (1872–1912) — критик и публицист

Экземплярский, Василий Ильич (1875–1933) — богослов и философ
Эрн, Владимир Францевич (1882–1917) — философ

Якубович, Петр Филиппович (1860–1911) — революционер, писатель и поэт
Ясинский, Иероним Иеронимович (1850–1931) — поэт, писатель, критик

ОБ АВТОРЕ

Симашенков Павел Дмитриевич, уроженец Смоленской области (пгт. Верхнеднепровский).

Окончил Самарский государственный медицинский университет, Саратовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В прошлом — эксперт-криминалист, подполковник милиции. В настоящее время преподает в вузах г. Самары.

Кандидат исторических наук, автор пяти монографий и более восьмидесяти научных статей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть I. МЕЖДУ ЭОНОМ И ХРОНОСОМ	4
ПРОЛОГ	5
ВМЕСТО МАНИФЕСТА	7
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И КОНКРЕТИКА ТИПИЧНОГО	13
ВРЕМЯ В ОБРАТНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ	20
О ГОРНЕМ И ДОЛЬНЕМ	24
ОРДАЛИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ	32
САМОДЕРЖАВНЫЙ АНАРХИЗМ ПРОТИВ АНАРХИИ БЮРОКРАТИЗМА	38
СПАСЕНИЕ КАТАСТРОФОЙ	49
СОБОРНАЯ ЛИЧНОСТЬ	56
О ПРОСТОТЕ БЕЗ ПЕСТРОТЫ	64
ИСПОВЕДАНИЕ ФИЛОСОФИИ	69
ПУТЬ АПОФАТИКИ	79
МУЖЕСТВО ОСТАТЬСЯ	89
ЭПИЛОГ	97
Часть II. О РУССКИХ И РОССИИ	99
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПЕРСОНАЛИИ	153
ОБ АВТОРЕ	160

Научное издание

Симашенков Павел Дмитриевич

ПАРАДОКС РУССКОГО ХАРАКТЕРА

Монография

Издается в авторской редакции

Технический редактор С. К. Малянов

Подписано к использованию 31.08.2023.
25,4 Мб, 10 электрон. опт. диск. CD-ROM. Заказ 10.
Систем. требования: Intel Pentium 1,6 GHz и более ; 256 Мб (RAM) ;
Microsoft Windows XP и выше ; Firefox (3.0 и выше) или IE (7 и выше)
или Opera (10.00 и выше), Flash Player, Adobe Reader.

ИП Малянов Семен Константинович
443081, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Стара Загора, д. 29, кв. 42.
e-mail: malano789@mail.ru



Я попытался выразить сущность
идеи, определяющей вектор
отечественной истории и культуры.
Эта книга — признание в любви
моей земле и моему народу.

Павел Симашенков